



ЗАПИСКИ ОБ АРЕСТЕ

Из дневника рабби Йосеф-Ицхака Шнеерсона

Полное описание истории ареста
и героической борьбы в советской тюрьме
шестого Любавического Ребе,
рабби Йосефа-Ицхака Шнеерсона

Составитель и переводчик Д.А.Гуревич

Ответственный редактор М.Х.Левин

Литературная запись А.Игин

Литературный редактор М. Баркан

Технический редактор Н. Либман

Корректор Л.Любарская

Published and © Copyrighted 1980 by

FRIENDS OF REFUGEES OF EASTERN EUROPE

ПИСЬМО

(вместо предисловия)

19 Ияр 5688 г.¹ Рига, Латвия.

Мир и благословение!

... Я хотел жить в России, ибо евреи там преданы душой Торе, соблюдают ее в бедности, придавленные и настрадавшиеся. И дай Б-г, чтобы вскоре исполнились слова наших Мудрецов: «Кто соблюдает Тору в бедности, в конце концов получает возможность соблюдать ее в условиях материального и духовного изобилия».

В бегстве человека есть две стороны: он убегает от зла и стремится к добру. Я вынужден был уехать из России вопреки своему желанию. Мне пришлось расстаться с моими любимыми друзьями. Но иного выхода у меня не было: мне грозили обвинения в «тягчайших преступлениях» – создании групп учащихся, тем более – детей, не говоря уж об оказании моральной и материальной поддержки этим группам. Закон там запрещает деятельность, которая могла бы побуждать к религиозности и укреплять иудаизм; я же нарушал все это «злонамеренно и обдуманно», систематически и в течение многих лет. Против меня были собраны «улики» и сфабрикованы обвинения в «чудовищных преступлениях». Мое положение усугублялось тем, что все это, якобы, предпринималось мною «намеренно и обдуманно по заранее составленной программе».

В ГПУ не пожелали ограничиться тем, что засудят меня по закону, – тогда бы мне полагалось около 10 лет ссылки в Сибирь, куда обычно ссылают убийц, закованных в кандалы. Их целью было довести меня до состояния полной подавленности, а затем – уничтожить. Свои ложные обвинения они приурочили к моменту убийства советского полномочного представителя в Варшаве и высылки советских представителей из Англии. С целью запугать страну, они решили арестовать руководителей, стоящих во главе своих народов и религий, и совершить над ними расправу. Среди евреев и раввинов нашей страны они избрали меня. Первый приговор на рассвете 17 Сивана был наиболее жестоким. Но милосердие Б-га бесконечно!

Известие о моем аресте разнеслось по стране, в сотнях городов евреи днем и ночью читали Теилим², постились. И это было услышано Всевышним. Благодаря заслугам моих святых родителей и предков, Он склонил сердца судей трижды смягчить приговор.

... Я убедился в невозможности оставаться впредь в России, где опасность витает над моей головой. И был вынужден оставить страну, где покоятся мои святые предки.

¹ 9 мая 1928 года

² Псалмы царя Давида

АРЕСТ

Сегодня первая годовщина моего ареста, который произошел в ночь на среду 15-го Сивана 5687 года от сотворения мира¹...

Вот как это было.

12 часов, полночь. Только что окончился очередной прием посетителей – «ехидут» – беседа с глазу на глаз. Такие приемы происходили трижды в неделю – от семи до десяти вечера, но зачастую затягивались на час или два, особенно летом, когда вечерняя молитва начинается позже.

После окончания ехидут прочли молитву. От усталости еле стою на ногах. К этому еще добавились волнения последних дней. Начиная с воскресенья, ежедневно происходили встречи с престарелым раввином Ленинграда Давид-Тевлом Каценеленбогеном и другими раввинами по поводу странного совещания ленинградской еврейской общины. До сих пор неприятно мне вспоминать ту историю. Не вдаваясь в подробности, суть ее такова: руководители общины явно затевали что-то недоброе, а раввин Давид-Тевл реагировал на это не лучшим образом. Даже не пытаюсь разобраться в происходящем, он открыто заявил о поддержке совещания. И только потому, что я был категорически против.

Это довольно долгая история. Поскольку, слава Б-гу, их затея полностью провалилась, не следует на ней долго останавливаться. Хотя, признаюсь, в свое время она причинила мне немало огорчений, так как всерьез угрожала коренным интересам еврейства Советской России. Есть немало доказательств тому, что несостоявшееся ленинградское совещание было важной частью глубоко продуманного и коварного плана, направленного против российского еврейства. И слава Творцу, что грязная провокация провалилась!²

Усталый, еле стоя на ногах, я готовился к позднему ужину в кругу семьи. Было несколько минут за полночь, когда неожиданно и резко загремел дверной звонок. Кто-то из домашних пошел открыть дверь, послышался шум и в столовую стремительно ворвались двое.

– Мы из ГПУ! – заорал один. – Кто здесь Шнеерсон?

Он и рта не успел закрыть, как комнату заполнили вооруженные солдаты.

– Мне неизвестно, какого Шнеерсона вы ищите, – ответил я спокойно. – Но коль скоро вы пришли сюда, стало быть знаете, кто здесь живет. Тем более, я вижу, с вами управдом, а он-то знает своих жильцов. Для чего же, спрашивается, кричать?

– Я не кричу, – ответил главный, несколько поубавив тон. – Вы, видно, еще с ГПУ не встречались, не знаете наших методов... Покажите свою квартиру. И где тут у вас черный ход – охрану поставить... Вставайте, вы – владелец квартиры, по инструкции должны присутствовать при обыске.

¹ 14 июня 1927 года.

² Подробнее о ленинградском совещании, вернее, конференции еврейских общин, см. «Послесловие» к настоящему изданию, а также главу «Только не в субботу!..»

– Это вы правильно сказали, – заметил я невозмутимо. – Откуда мне знать обычаи вашей организации, да я и знать их не хочу. А на будущее учтите: я ГПУ и раньше не боялся, и сейчас не боюсь, и впредь бояться не намерен. Квартиру вам может показать и упрямдом, я вашим обыскам не помощник... Могу я теперь продолжить мой ужин?!

Слова мои, сказанные со спокойным достоинством, произвели нужный эффект. Какое-то время они недоуменно разглядывали меня, и мертвая тишина воцарилась в доме. Однако оцепенение длилось недолго. Первым очнулся главарь – Нахмансон, оперуполномоченный ГПУ, еврей из Невеля, чей отец не раз бывал в Любавичах, – и послал солдат сторожить вход в квартиру.

– Если кто позвонит, – сказал он, – впускайте и держите в прихожей. А ты, – обратился он к стоявшему в комнате охраннику, – следи за порядком. Захочет кто из комнаты выйти или разговаривать начнет – сразу пресекай.

Он повернулся к своему подручному – низенькому, черноволосому Лулову из семьи рижских Луловых. – Ну что ж, приступим, – и бросил через плечо: – Коли можете есть, так и ешьте. Мешать не собираемся...

Обыск начался с комнаты дочерей – Хаи-Муси и Шейны. Мне были хорошо слышны голоса и завязавшийся вскоре спор.

– В какой-нибудь партии состоите? – спросил Нахмансон.

– В партии нашего отца, – ответила, не задумываясь, Шейна. – Надо бы вам знать, что дочери настоящих евреев ни в какие партии не вступают. Кто уважает еврейский образ жизни, тот за модой не гоняется.

– Почему? – удивился Нахмансон.

– Я не обязана вам отвечать, – сказала Шейна, – да и к чему мне аргументировать свою точку зрения. Ведь вы пришли сюда не для дискуссии, а копаться в моих вещах. – И добавила после паузы: – Какими бы мы ни были, мы этого не скрываем, не считаясь – нравится вам это или нет.

– Надо будет – так посчитаетесь, – сердито ответил Нахмансон. – Потому, как сила солому ломит. У нас в ГПУ и немые говорят, а молчальники – тем более: любые тайны рассказывают. Там у нас не скрытничают, нет, там говорят по доброй воле и против воли. Имейте в виду, нашим следователям все-все выкладывают. – Помолчав, он добавил с угрозой: – Там и мертвые разговаривают.

– В том-то и беда, – возразила дочь, – что вы хотите добиться своего кулаком и насилием. Но это постыдно и абсурдно – противопоставлять чужой мудрости и мнению по-иному думающих людей силу кулака и угрозу ружьем...

Не скрою, мне было приятно слушать этот спор, дочь говорила умно и хладнокровно. Но вместе с тем пришло беспокойство: что стоило Нахмансону, так бравирующему стоявшей за его спиной силой, арестовать и Шейну, хотя бы в доказательство, что его слова не пустая бравада...

Они обыскивают квартиру около полутора часов. Вместе с тем как-то бросалось в глаза – не в этом их главная цель. Потом Нахмансон наскоро составил акт и подал мне на подпись. Буквально несколько строк: в моей квартире произведен обыск, и я свидетельствую соблюдение законности при этом, а также извещен об аресте.

Прочитав акт, я отказался его подписать.

– Как же так, – сказал я Нахмансону, – в вашей бумаге говорится о полном соблюдении законности при обыске, а мне вообще неведомо, на каком основании вы здесь появились. Мое имя и моя деятельность, хорошо известные еврейской общественности, никогда не были связаны с чем-то криминальным. Недоразумение ли это или чей-то навет, но в любом случае я не давал и не собираюсь давать разрешения на незаконный, неизвестно чем вызванный обыск. А поскольку, – обратился я к своим домашним, – они явились сюда с ордером на арест – напрасны все ваши просьбы о жалости и снисхождении.

– Однако вы упомянули, – опять обратился я к Нахмансону, – возможность ошибки или ложного доноса, сказав, что все это выяснится через день или два. В таком случае вообще не понимаю, зачем нужно меня арестовывать. Я не намерен скрываться, я нахожусь постоянно дома или в синагоге, где по субботам и праздникам веду беседы об учении хасидизма. Иными словами, я всегда на виду. В то же время, как мне кажется, мой арест вызовет едва ли желательную для вас общественную реакцию. Подумайте, может быть разумнее повременить с моим арестом до выяснения истины, если, конечно, в этом – ваша цель. Но если не истина вам нужна, а обычный полицейский арест, тогда поступайте как вам заблагорассудится. Однако и не требуйте моей подписи под вашей фальшивой бумажкой...

В этом месте насупившийся, еле сдерживавший себя Нахмансон не выдержал и грубо оборвал меня.

– Органы ГПУ, – заорал он в бешенстве, – за свои действия отвечают! И плевать им на реакцию общественного мнения, даже мирового общественного мнения, которым вы надумали тут нам грозить. Уж коли отдано распоряжение забрать вас в Шпалерку, значит ГПУ ничто не остановит. Да как вы смеете вообще обсуждать действия ГПУ! Вы арестованы – и точка!

– Не понимаю, – сказал я вежливо, – зачем нужно кричать, да еще грубо ребивать? Вы не дали мне закончить мою мысль...

Но Нахмансон словно сорвался с цепи.

– Это я попрошу не грубить мне! Что? Вы хотите чего-то просить? Ваше право. Но запомните, если не поняли до сих пор: мы пришли сюда не беседовать или слушать просьбы ваших дочерей. А вы, – он зло посмотрел на них, – уходите отсюда! Еще хоть раз откроете рот, так тоже арестую, – при этих словах он стукнул по полу прикладом винтовки. – Там и поговорим на другом языке. Тогда вы быстро забудете свое красноречие.

– Мы всегда говорим на том языке, – сдерживаясь, сказала Хана, – на каком разговаривают люди, остающиеся людьми при любых обстоятельствах. Наверное, он не похож на язык пришельцев из болот, которые и говорить по-человечески не умеют, а только пугают наганом или арестом... Оставьте нашего отца в покое, не трогайте его! Можете арестовать, если хотите, и меня, и сестер, и мы с радостью пойдем в тюрьму вместо отца. Он болен и слаб, врач запретил ему выходить на улицу. Неужели не люди вы, и нет у вас сострадания или совести... – не удержавшись, она заплакала навзрыд.

– Где это видано, – сказал я шутливо, стараясь разрядить обстановку, – чтобы слезы и просьбы спасали от ареста... – Но шутка не помогла. Жена и дочери

оставались мертвенно-бледными, из глаз их, не переставая, катились слезы. – Родные мои, запомните: иноверец и ваши мольбы – это вещи несовместимые!

– А вы, – обратился я к Нахмансону, – отчего не дали мне договорить? Все ваши средства устрашения применяйте у себя в тюрьме, где ваша воля обучать меня вашим нормам поведения. А сейчас, пока я еще в стенах своего дома, будьте любезны выслушать. И дайте ответ в присутствии свидетелей – моей семьи, чтобы в дальнейшем вы не могли отказаться от этого разговора...

– Все ваши слова, – опять перебивает Нахмансон, – словно яд, потому что не по душе вам советская власть. Ну, к этому мы еще вернемся. А теперь говорите, что вам угодно, в присутствии членов вашей семьи, – при этих словах он подмигнул своему помощнику Лулову и солдату, – ну, свидетели, от которых мы не сможем отказаться...

– Я требую обещания, что мне позволят надевать тфилин и молиться. И, если это разрешено законом, прошу также, чтобы пищу в тюрьме я получал не от посторонних людей, а от кого-то из моих домашних.

– Вы просите дозволить вам молиться? – ухмыльнулся Нахмансон. – Ничего не имеем против. Можете взять с собой тфилин, книги, бумагу, ручку. Даю честное слово, что никто не помешает вам молиться, читать и писать. Впрочем, думаю, вы еще сегодня вернетесь домой. Вас уже ждет наш начальник, он должен задать вам несколько вопросов, а когда вы на них ответите, он вас сразу и отпустит...

Наконец, с формальностями покончено. Остается только дожидаться появления арестантской кареты, которая увезет меня в Шпалерную тюрьму. Но тут происходит непредвиденное. До сих пор моя мать спокойно спала у себя и не знала о происходящем: Нахмансон даже не считал нужным обыскивать ее комнату. Неизвестно, что ее разбудило, но неожиданно дверь открылась, она вошла, увидела незваных гостей и сразу все поняла.

– Зачем они пришли?! – спросила она дрожащим голосом. – Неужели они крутят руки и невинным, отдающим всего себя людям, как ты, мой сын?! Нет! – из последних сил закричала мама. – Я не дам, дорогой, увести тебя! Я пойду вместо тебя! Возьмите лучше меня, – умоляюще обратилась она к Нахмансону. – Не нарушайте спокойствия моего сына, моего единственного сына, помогающего всем в беде. Неужели и на истых сердцем поднимается ваша рука? – и она заплакала. – О, горе нам, муж мой... нашего Йосеф-Ицхака забирают, твоего единственного сына, который, рискуя жизнью, творит добро... твоего единственного, свято хранившего твои наставления... Бандиты, за что убиваете честных?! Родители святые, ваш свет хотят потушить!.. Будь что будет, будь что будет, но я не позволю тебя забрать.

– Прошу вас, – нервно обратился ко мне Нахмансон, – успокойте ее. Пройдите с ней в ее комнату. Я же не виноват, что она проснулась и расстроилась. Ведь мы даже не заходили к ней и не собирались ее беспокоить. Прошу вас, идите и успокойте ее.

Поистине в самых глубинах зла всегда есть искра добра. Ну, кто мог ожидать подобных слов от бандита, чьи руки в людской крови? Неужели и у таких еще остается сердце, совесть. Неужели и ему доступно милосердие или, быть может,

на мгновение вспомнил он, что умоляющая его женщина – Ребецин, чье имя в Любавичах всегда было окружено ореолом всеобщего уважения и почета? Как знать, может в этот момент вдруг проснулось в нем раскаяние или сожаление о выпавшей на его злую долю работе в ГПУ?

Я увел маму в комнату, успокоил, как мог, и мы заговорили о вещах, которых нельзя было касаться в присутствии непрошенных гостей. Надо сказать, они и не пытались нам помешать. Нахмансон и Лулов ушли на улицу дожидаться появления тюремной кареты, оставив в квартире солдат, которые не обращали внимания на завязавшийся между нами разговор. Я никак не мог догадаться, откуда пришла беда, кто в ней повинен. Среди различных версий, приходивших мне на ум, самым вероятным в первую минуту показалось, что меня берут заложником. Я так и сказал домашним.

– За что? – спросил мой зять, раввин Шмарьяу.

– Не знаю, – ответил я. – Но, видимо, это так.

– Донос?! – предположила мама.

– Донос, – поддержали ее жена и дочери. – Конечно, донос!

– Не думаю, – возразил я им. – Не верю, чтобы на меня кто-то донес. Да, и не вижу повода. Нет, все-таки думаю – берут заложником.

– Что же нам делать? – быстро спросил зять. – Как вы думаете, что мы должны предпринять?

– Что делать? В первую очередь, организуйте паломничество туда, где покоятся светлой памяти мой отец и его предки: в Ростов-на-Дону, Любавичи, Нежин и Гадяч³. Попросите также всех наших единомышленников, чтобы они читали Теилим в первые дни...

– В первые дни... – как загипнотизированные, повторили дочери и зять. – О чем ты думаешь, не дай Б-г?!

– С Б-жьей помощью увидим... Вы только не паникуйте. Пока несомненно лишь одно – мой арест не останется тайной и получит широкую огласку.

– Не мешайте ничему, – продолжал я, – что предпримут наши хасиды. И здесь и в других городах. А прежде всего, передайте через наших друзей и знакомых во все ешивы и хедеры мою просьбу: случившееся ни в коем случае не должно помешать занятиям. Разумеется, их финансовые дела ухудшатся, ведь даже искренние и преданные наши сторонники будут теперь помогать с опаской. Что уж тут говорить о тех, кто и раньше не проявлял особого рвения, а теперь под любым предлогом постарается отойти в сторону.

– Но мой вам наказ – не обращайтесь внимания на мои долги. Наоборот, где только можно, одалживайте деньги на поддержку святого дела. Пока Б-г не возвратит меня домой, вам надлежит исполнять мою работу, как будто ничего не произошло...

³ В Ростове-на-Дону похоронен пятый Любавический Ребе, отец рабби Йосеф-Ицхака Шнеерсона – рабби Шалом-Довбер; в Любавичах похоронены третий Любавический Ребе – Цемах-Цедек и его сын, четвертый Любавический Ребе, рабби Шмуэль; в Нежине – второй Любавический Ребе – рабби Довбер; в Гадяче – основатель движения Хабад, Алтер Ребе, он же первый Любавический Ребе – рабби Шнеур-Залман из Ляд.

Из слов одной из дочерей я сделал вывод, что мой секретарь Хаим Либерман уже извещен о случившемся⁴. Надо думать, он успел перепрятать письма, которые могли стать обвинением и против него. А лучше, если бы он, пока не утихнет буря, вообще перебрался на другую квартиру. Для чего подвергать себя напрасному риску?! К тому же, Либерман – единственный, кто знает во всех подробностях всю мою деятельность и, оставаясь на свободе, сможет эффективно продолжать ее. Дай Б-г, чтобы у него ничего не нашли!

Мои родные ошеломлены и растеряны. Лица бледные, на глазах слезы. Как трудно найти слова ободрения и поддержки, когда любимые смотрят на тебя со смятением, надеждой и мольбой. Остались считанные минуты. Вот-вот придет арестантская карета и повезет меня в «Шпалерную», которая пользуется ужасной славой. Ее название, известное в этом городе даже малым детям, наводит одинаковый страх на людей всех национальностей, партий и религий. И всем хорошо известно, что туда не забирают по пустякам или случайно. Если увозят в Шпалерку, следовательно, либо судьба человека уже предрешена, либо против него выдвинуто некое «дело».

Возможно, читатель этих строк не знает разницы между обычным расследованием и так называемым «делом». По разным причинам у меня нет желания вдаваться в подробности, а коротко говоря, расследование – это как бы нормальный человеческий диалог, вопрос – ответ, вопрос – ответ. «Дело» же – следствие совсем особого рода. Это вопросы-намеки, вопросы-провокации, чтобы вынудить к признанию в том, чего не было на самом деле, но что необходимо заранее спланированному следствию. Как выразился Нахмансон, «Там мы умеем открывать рты, там рассказывают и снова рассказывают».

Для обычного расследования в Шпалерку не забирают, для этого есть другие места в этом городе; в Шпалерку везут с куда более серьезными намерениями и целями. И именно туда мне предстоит уехать через несколько минут... В моем распоряжении считанные секунды, о многом нужно бы переговорить, а язык не поворачивается, он словно прилип к гортани, и мозг не в состоянии справиться с бурей чувств. Сердце учащенно бьется – волнение велико, слишком велико. Оно не дает сосредоточиться, собраться с мыслями и облечь их в точную словесную форму. Но по милости Б-га, мне удалось взять себя в руки и кратко сказать о необходимом для продолжения нашей работы.

⁴ Долгие годы оставалось загадкой, откуда, вернее, через кого уже на следующий день об аресте Ребе стало известно на Западе. Эта тайна раскрылась после публикации воспоминаний одного из близких друзей рабби Йосеф-Ицхака Шнеерсона. Оказывается, во время обыска, когда семья Ребе была насильно изолирована в одной из комнат, Хая-Муся случайно увидела в окне направлявшегося к ним через двор своего жениха, рабби Менахем-Мендела (будущего преемника Ребе). Тихонько отворив окно, Хая-Муся негромко крикнула: «Уходи, у нас гости!»

Поняв, что произошло, рабби Менахем-Мендел поспешил к Хаиму Либерману, чтобы предупредить его об опасности ареста и помочь, если понадобится, перепрятать хранившуюся у него переписку. Риск был велик, ГПУ могло устроить ловушку и в доме Либермана, однако Рабби Менахем Менделу удалось опередить чекистов, которые пришли к секретарю лишь несколько часов спустя.

Предупредив Хаима Либермана, ближайшим же поездом рабби Менахем-Мендел уехал в Москву, благополучно пришел в немецкое посольство, добился встречи с послом Германии – и мир узнал об аресте Ребе.

– Вполне вероятно, против меня сфабрикованы весьма серьезные обвинения. Меня будут заставлять признаваться в том, к чему я вообще непричастен, то есть к делам, не имеющим абсолютно никакого отношения к моей деятельности по спасению еврейства и Торы. Но будь что будет! Запомните, на меня не смогут повлиять! Я буду говорить вполне откровенно, я не намерен отрицать, что занимаюсь укреплением духа Торы и помогаю этому деньгами. Всю «вину» возьму на себя. Но если, не дай Б-г, последуют аресты и будут утверждать, что арестовывают на основании моих показаний, знайте – это ложь. Они от меня ничего не добьются. Нет в мире силы, которая бы заставила меня нарушить это обещание!

– Не сомневаюсь, за всем этим стоит что-то очень серьезное. Из-за пустяков они не станут арестовывать. Нужно быть готовым ко всему, вплоть до самых тяжких обвинений. Не удивлюсь, если на основе материалов, связанных с моим арестом, они попытаются нанести удар по всему еврейству России... Кто знает! Уповаю на Б-га и заслуги наших святых родителей. Надеюсь, Всевышний освободит меня из рук палачей, как оберегал до сих пор.

– Исполните все мои наказания. И главное, не падайте духом, Б-г не оставит нас в беде. И не забудьте унести из дома все письма, передайте их в надежные руки.

Едва успел я договорить, как вернулся Лулов поторопить меня – уже пришла тюремная карета.

– Куда спешить? – ответил я. – В нынешней России, как ни медли, к аресту никогда не опоздаешь. И даже те, кто арестовывают сегодня, могут быть спокойны: наступит их черед...

Лулов промолчал.

Я вошел в комнату внука – взглянуть на него и благословить младенца, спокойно спавшего в кровати. И невольно вздохнул. Дай Б-г, чтобы этот ребенок не знал испытаний, выпавших на долю его предков, оставался верен заветам деда и, не страшась ничего в этом мире, шел путем, по которому отважно шли и завещали идти наши предки. Дай Б-г ему в зрелые годы быть мужественным и стойким во всем, что касается Торы и религии; не страшась ничего, бороться за укрепление Торы и еврейства; быть надежной опорой своему народу... Я пошел попрощаться с домашней прислугой. Они, оказывается, даже не знали, что меня забирают в тюрьму: солдаты разделили нас и заперли их в кухне. Вздолнованные и перепуганные, они не в состоянии ответить мне добрым словом или просто посмотреть в глаза.

Поцеловав дверные мезузы⁵, присаживаюсь на минутку – перед дальней дорогой. Солдаты и Лулов обступили меня плотным кольцом, следят за каждым движением. Все мое хозяйство – это тфилинб, талит⁷ и гартл⁸. Из книг

⁵ Мезуза – маленький свиток пергамента, на котором написаны два отрывка из Торы, заключенный в футляр. Мезузы крепятся на дверных косяках в каждом еврейском доме.

⁶ Тфилин или филиактерии – надеваемые во время молитвы на руку и на голову кожаные коробочки (с прикрепленными к ним кожаными ремешками), в которых содержатся пергаментные свитки с отрывками из Торы.

⁷ Талит – четырехугольное молитвенное покрывало с черными полосами по двум краям и кистями – цецит – на всех четырех углах.

⁸ Гартл – матерчатый пояс, надеваемый во время молитвы.

– молитвенник, Теилим и Тания⁹; из вещей – белье, полотенце, валерьянка, немного еды. Все это сложено в маленький дорожный саквояж, на чехле которого – инициалы моего отца. Он купил саквояж давным-давно и не расставался с ним в многочисленных поездках, а потом подарил его мне.

Поднимаюсь и передаю саквояж одному из конвойных. Вдруг подсакивает Лулов и выхватывает саквояж из рук солдата.

– Я сам понесу его, – зачистил он по-еврейски. – Хасид остается хасидом. Мой дед носил свертки вашего деда, а я понесу ваши вещи.

Но я отобрал у него саквояж.

– Ваш дедушка был настоящий хасид и был достоин помогать моему, когда тот шел куда-то по своим делам. Вы же уведите меня вопреки моей воле и хотите нести мои вещи?!.. Не бывать этому! Такого удовольствия я вам не доставлю, именно потому, что хасиды остаются хасидами. – Я вернул саквояж конвоиру, в последний раз поцеловал мезузы и вышел, окруженный конвоем.

Мы не прошли и пролета, как сверху раздались умоляющие голоса: «Дайте нам проводить нашего сына, мужа, отца!» Я обернулся и увидел солдата, винтовкой перегородившего моим родным дорогу.

– Почему вдруг нельзя провозить меня? – возмущенно и громко спросил я Лулова. – Разве есть у вас на это право!?

Трудно сказать, что подействовало на Лулова, но он нехотя кивнул, и солдат отступил в сторону, пропуская моих домашних. Мы спустились все вместе, и я даже смог перекинуться с зятем несколькими фразами. В пустынном дворе нас поджидал Нахмансон.

– Здесь вам придется расстаться, – сказал он тоном, не допускающим возражений. – На улицу выходить запрещаю. Можете целоваться здесь, у выхода, – и добавил с иронией, – в соответствии с обычаями и церемониями, принятыми среди высокопоставленных лиц.

– Представителю официальных властей, – сказал я резко, – требующему расписки, что его посещение проходило на высшем уровне такта и уважения к арестованному, не подобает, мне кажется, разговаривать подобным образом. А тем более – задерживать родных, которые хотят всего лишь проводить дорогого им человека.

– Идите в карету, – вскипел Нахмансон. – Пора понять, что вы арестованы и обязаны подчиняться любым моим распоряжениям.

– Смотри каким. Неужели так трудно понять, что не запугать вас меня никакими угрозами! Прошу вас, не препятствуйте просьбе моей семьи.

Нахмансон что-то пробурчал, но больше не настаивал, и мы, все вместе, вышли на улицу, где стояли карета и конвойный отряд. В карете уже был арестант – человек лет сорока, хорошо одетый и похожий на иностранца. Глаза его выражали непередаваемое смятение, на белом, как снег, лице застыло выражение ужаса. Напротив него сидел вооруженный охранник.

⁹ Тания – классический труд хасидизма, содержащий основные принципы учения Хабад. Автор книги Тания – Алтер Ребе, рабби Шнеур-Залман из Ляд (1745-1812 гг.).

Я случайно глянул на большие часы в окне часового магазина напротив. Циферблат был того же цвета, что и лица провожавших меня, а черные стрелки показывали двадцать минут третьего ночи. Сколько страданий и страха вытерпела моя семья за два прошедших часа!

Минуту мы простояли молча, потом, поддерживаемый кем-то из охраны, я поднялся в фургон и сел на указанное мне место. Напротив – охранником – расположился Лулов. Нахмансон, с винтовкой в руке, забрался к извозчику.

– Будьте здоровы и крепитесь, – сказал я родным. – Да поможет нам Б-г вскоре встретиться в добром здравии.

Фургон тронулся.

Он еще не набрал скорость, как я заметил на углу улицы одинокую фигуру. Это был Элияху-Хаим Алтгауз – большой друг нашей семьи. Кивком головы прощаюсь с ним, но вижу – он словно невменяем. Он похож на человека, который вот-вот истерически закричит. Мы свернули на Литейную улицу и на повороте опять проехали мимо неподвижной фигуры. Это был Пинхас, сын Элияху-Хаима. При виде его опущенных плеч и бледного мелового лица, на котором неестественно выделялись огромные черные глаза, мне стало как-то не по себе. Пинхас напряженно всматривался в глубь кареты, пытаюсь разглядеть меня, но, кажется, так и не увидел.

Фургон свернул направо, на улицу Шпалерную, где под номером 24 расположена Шпалерная тюрьма. У ее ворот Нахмансон и Лулов скомандовали солдатам строго следить за «почетными гражданами», прыгнули с кареты и устремились к наглухо закрытым массивным дверям. Но что-то у них не сработало, им не открывают, с ними даже не хотят говорить. Наконец, дежурный приоткрывает окошко, о чем-то спрашивает и опять уходит. Я не слышу слов, но вижу, как спорят между собой возбужденные Нахмансон и Лулов. Потом Лулов возвращается к карете, а Нахмансон топчется на месте: одна его рука упирается в ворота, другой он вынимает платок и утирает капли пота на вдруг побагровевшем лице... Бывает пот, снимающий грехи человека, – при напряженном изучении Торы или при исполнении трудного, но доброго дела – мицвы; или пот от работы – при честном, добросовестном, тяжелом физическом труде. Но бывает и пот иного рода – от преступного дела или волнения палача. Лулов раздраженно кричит напарнику:

– Мы не укладываемся во время. Черт бы его побрал. Нам говорит одно, а сам беззаботно спит. Надо будет пожаловаться (он называет какую-то фамилию). Небось, тогда ему не поспится или уснет навеки.

Но раздается лязг отпираемого замка. Моего соседа буквально трясет от страха. Он снежно бел, лицо искажено гримасой отчаяния. Такое впечатление, что с ним в любую минуту может случиться удар. Тем не менее, охранник не отрываясь следит за ним. В одной руке у солдата штык, в другой – винтовка.

– Вставай, – кричит дежурный, – выходи!

Конвойные выстраиваются в две шеренги от кареты к воротам. Первым выходит мой сосед, сидевший ближе к выходу. Я не спешу. За ним выносят его вещи – большой, заграничного вида сундук, на котором раньше сидел охранник.

Теперь очевидно, что этот человек иностранец: он не понимает по-русски, и ему знаками показывают путь в тюрьму. Из ворот выходят двое, уносят сундук, и, когда они скрываются, Нахмансон начальственно встает у входа. Он командует своему другу, и Лулов оборачивается ко мне с нескрываемым торжеством.

– Потрудитесь подняться... Уж теперь, – говорит он злорадно, – желаете вы того или нет, – я понесу ваши пожитки. Теперь вы у нас и будете подчиняться любым моим распоряжениям.

– Велика победа, – говорю я. – К тому же, надеюсь, на недолгое время.

– Не разговаривать! – злобно орет один из конвойных. Видимо, не смог удержать переливавшую через край ненависть к религиозному еврею...

Нахмансон идет впереди. Двое тюремных охранников, сменившие солдат конвоя, шагают справа и слева. Замыкает процессию Лулов.

Мы выходим в прямоугольный двор, окруженный со всех сторон шестиэтажным зданием Шпалерки. На каждой стороне здания по два-три входа. Во дворе ни души, кроме постовых у ворот.

Нахмансон торопится, но вынужден поджидать меня – я иду слишком медленно, болят ноги. Да и куда спешить! Входим в здание управления, и медленными шагами, с остановкой на каждой площадке я с трудом поднимаюсь по лестнице. Во время одной из передышек напоминаю Нахмансону его обещание, дать мне возможность надеть тфилин и помолиться. Краска гнева заливает его лицо. Повернувшись ко мне и задыхаясь от ярости, он шипит:

– Не успели порог переступить, не успели сделать, чего обязаны, как уже претензии предъявляете. Просто неслышанно! Неужели не можете понять свое положение? Вы должны теперь подчиняться правилам тюремного распорядка. Ясно?! Первым делом пройти в контору и заполнить анкету. Затем отправитесь в тюремную камеру и будете себе молиться. Впрочем, – добавил он злорадно, – скоро образумитесь. Как поймете свое положение, так и не станете требовать подобный вздор. А сейчас забудьте, что вы – уважаемый всеми богомольниками Шнеерсон. Теперь вы самый обычный человек, которого арестовали и накажут по всей тяжести преступлений. Понятно?! Сами знаете, сколько натворили против рабочего класса. Теперь и расплатитесь за все.

Я ничего не ответил. Только посмотрел на него взглядом, который оборвал Нахмансона лучше любых пререканий. Тогда он переключился на своего помощника.

– Нет, вы подумайте! – сказал он Лулову. – Какое! Гражданин почтенный, которому всю жизнь разве птичьего молока не доставало, перебирается на новую жилплощадь – в салон Шпалерки. Нет, не понравятся ему наши запахи – черного хлеба да каши... А ведь забудет скоро – спорить могу – свое высокомерие. Там, за нашим столом, небось, заговорит, как надо, обо всем выскажется, на все ответит... Не так ли, – опять обратился он ко мне, – гражданин почтенный?

– Вы дали честное слово работника органов ГПУ, – я будто и не слышал его разговора с Луловым, – что я смогу молиться, когда захочу. Оказывается, это не так. Что же мешало вам еще у меня дома сказать мне правду? Неужели именно так должны поступать представители ГПУ?

Он рассмеялся мне в лицо смехом победителя, со злобной радостью. Передо мной стоял совершенно иной человек. Это не был Нахмансон, обыскивавший мою квартиру. И даже не тот, кто командовал и спорил на нашем крыльце. Теперь на меня смотрел наделенный всей полнотой власти над жизнью и смертью арестанта представитель страшной организации, работник ГПУ, чья первоочередная задача – вызвать трепет в арестованном, повергнуть его в смятение, в состояние панического ужаса. Только преуспев в этом, могут они навязать свою волю, вырвать признание в том, о чем человек и не помышлял. Я вспомнил слова рабби Зеира: «пиявка только и знает – давай и давай». Или, как говорил Рабби Элазар: «У входа в ад стоят ангелы ада, приговаривая – давай-давай, заходи-заходи»¹⁰...

Наконец, добрались до нужного этажа. Нахмансон распахнул входную дверь и сказал охраннику:

– Забери гражданина. Отведи в контору и сдай из рук в руки, – он с ухмылкой посмотрел на меня. – Скоро поймете, где находитесь... – и поспешил вдогонку за Дуловым. Очевидно, их поджидали другие, не менее срочные «дела».

Конвоир провел меня до коридора и велел идти в конец его, где виднелась широко раскрытая дверь. Там, сказал он, секретарша поможет мне заполнить анкету. По обе стороны длинного, темного, двухметровой ширины коридора – наглухо закрытые двери. Через каждые десять шагов ниша, где мерцает слабый огонек. Вдоль коридора стоят 10–12 тюремщиков с казачьими саблями и винтовками в руках. Они неподвижны, похожи на мраморные изваяния, лишь провожают меня глазами. Их устрашающая внешность черным ужасом ложится на сердце невинного человека, которому и не понять, для чего и против кого это воинство. Откуда набирают подобных молодчиков, несомненно способных в любую секунду пустить оружие в ход? Неужели их много на свете – готовых быть хищниками, готовых ради карьеры мучить и убивать?

Глухая тишина, полусумрак, черные стены. Тусклый свет едва освещает грозные фигуры надзирателей, облаченных в зловещую черно-красную форму, специально, надо полагать, придуманную, чтобы повергнуть арестанта в страх и смятение, внушить ему мысль о полной беспомощности. Между шеренгами живых изваяний иду в тишине до конца коридора. Что предпринять, что ждет меня впереди?

Говорю себе: это всего лишь дверь, открытая для любого арестанта. Так сказал страж у входа в коридор. Мне предстоит заполнить какой-то листок с вопросами. А что потом? Потом, наверняка, будет кабинет Нахмансона. То самое место, где, по его словам, говорят добровольно либо по принуждению...

Затрудняюсь сказать, как это произошло, но, конечно, неумышленно. Глубоко задумавшись, я по-видимому машинально свернул в другой, еще более длинный коридор, который начинался перед широко распахнутой для меня дверью. Этот не был похож на предыдущий. Он был обычным, учрежденческим, с множеством окон и без вооруженной охраны. Светлые, выбеленные известкой стены, длинные скамейки под окнами, напротив – кабинеты, на дверях номера и таблички, заполненные мелким каллиграфическим почерком. Но мне не до надписей на дверях.

¹⁰ Рабби Зеира и рабби Элазар – известные мудрецы Талмуда, жившие 17 веков назад.

Я потрясен разницей между давящей темнотой первого коридора с вооруженной охраной и светом этого помещения. Даже зашагал более широко и уверенно. Никто не шел за мной или навстречу, никто ни о чем не спрашивал. Я догадался, что ошибся дорогой: нужно было идти в ту самую дверь, а я ушел неизвестно куда. Интересно, засчитают ли мне это в вину? Вполне возможно, я забрался туда, где арестованным запрещено появляться. Тогда к моим «грехам» добавят новое обвинение: изучение с подозрительной целью коридоров и проходов Шпалерки. Но не спешу возвращаться – попал-то я сюда неумышленно. Была на то, следовательно, воля Провидения. Рабби Баал Шем Тов¹¹ говорил, что даже дуновение ветра только по воле Провидения переносит с места на место листок дерева и травинку. А разве мое появление здесь менее предопределено?

Присаживаюсь на длинную скамейку отдохнуть. И спохватываюсь. Со мной нет вещей, как же это я раньше не заметил. Где они? Начинаю перебирать в памяти и вспоминаю – это произошло, когда я расстался с ангелами ада Нахмансоном и Луловым и перешел в руки охраны зловещего коридора. Тогда мне было не до саквояжа... Скорее всего, Лулов передаст его в канцелярию, но если даже он остался у коридорного стража – тоже не страшно. Надо полагать, в тюрьме мои вещи не пропадут... Не стоит сейчас о них беспокоиться, лучше обдумать, как вести себя в комнате, «двери которой широко раскрыты для каждого арестованного». Но мысли уносят меня из тюрьмы, возвращают домой. Что делается там сейчас?

Это и гнетет меня. Хорошо зная склад характера, психику и привычки каждого, легко могу их себе представить. Мою бедную маму. Бледное и несчастное лицо жены – только безмолвный вздох, без единого слова. Смятение растерянных дочерей.хлопотливую озабоченность зятя. А что с Менахем-Менделом, моим будущим зятем? Не попался ли он в их руки?

Буквально вижу, как расходится горькая весть среди друзей-единомышленников. Эти картины пробегают отчетливо, словно наяву, и меня обжигает сознание бессилия хоть чем-то облегчить страдания близких. Чувство своей беспомощности так мучительно и тяжело, что невольные слезы текут по щекам. Жгучие, горькие слезы... Сердце сжимается, тело дрожит, как в лихорадке, набегают иные печальные мысли: кто знает, вдруг при обыске обнаружены мои рукописи! Не надо обладать большой фантазией, чтобы представить себе их судьбу. И злобная речь Нахмансона, и его разговор с Луловым – бесспорные свидетельства: я имею дело с мстительными и беспощадными врагами.

И как ударило! А вдруг они доберутся до самого святого – драгоценных рукописей всех Любавических Ребе! Как ужасно и необратимо, если ценнейшие на свете манускрипты попадут в эту тюрьму!

«Прекрати об этом!» – говорю себе решительно и – словно блеск молнии освещает мои мысли: «А как же Б-г?! Кто сделал, кто сотворил все это? Ведь все от Б-га!.. Да, я – сын, я – муж, я – отец и тесть, я люблю и любим. Они зависят

¹¹ Рабби Исраэль Баал Шем Тов (сокращенно Бешт, 1698-1760 г.г.), основатель учения хасидизма.

от меня, но и я завишу от Того, чьим словом сотворен мир. Я сделал все, что мог, что было в моих силах. Теперь остается ждать предрешиенного Его волей...». Оцепенение уходит, я несколько приободряюсь, какой-то внутренний подъем вдруг подхватывает меня, унося высоко-высоко от материального грубого мира, заполняя сердце чистой верой.

Ощущаю прилив свежих сил. Прежние мысли текут по новому – более спокойному руслу, приобретают последовательность. Достая папиросу, закуриваю, пытаюсь продумать предстоящий допрос и твердо решаю: буду категорически стоять на своем и говорить с ними без тени страха. Это решение окончательно ободряет меня и освобождает настолько, что чувствую себя словно в саду на прогулке, даже начинаю подмечать окружающее. Вот сверкнул, отразившись в грани стекла луч восходящего солнца...

С этим чувством свободы привстаю, чтобы вернуться в таинственный кабинет... Но опять останавливает мысль – зачем спешить? Туда опоздать невозможно. Лучше еще и еще раз переосмыслить происходящее, поскольку – слава Б-гу! – я уже полностью вернулся к своему обычному спокойствию...

Как хороша глубокая вера, цельная вера, искренняя вера, доставшаяся нам, евреям, в наследство от наших святых и великих предков! И как велика сила безраздельного упования, надежды! В этом не только основа основ нашей религии, но и фундамент повседневной жизни любого еврея.

Хвала Милосердному, по безграничной милости которого я забрел в этот светлый коридор! Нет сомнений, это уберегло меня от какой-то западни, подстроенной злым Нахмансоном. Б-жественное Провидение управляло мною, как травинкой и зеленым листком, переносимым с места на место порывом ветра!..

Внезапно до меня донесся рев из кабинета напротив. Но это не был душе-раздирающий крик несчастного арестанта, а рыкающий смех самоуверенных и всем довольных людей. Несколько минут спустя дверь кабинета отворилась, и в дверном проеме появились трое. Вид постороннего человека, спокойно раскуривающего папиросу, привел их в замешательство, и они застыли на месте, сверля меня испытующими взглядами.

Мне стало не по себе. «Сейчас и выяснится, подумалось, провинность или нет мое самовольное появление в этом коридоре». Но внешне остаюсь невозмутимым.

Они изучающе рассматривали меня некоторое время, затем, не говоря ни слова, направились к той самой, уже неоднократно упомянутой, широко распахнутой двери. Немного погодя один из них вернулся и зашел в какой-то кабинет. У меня не было сомнений: он отправился выяснять, откуда я взялся и куда меня следует направить.

Предположения оправдались. Выйдя из кабинета, он сразу же подошел ко мне.

– Что вы здесь делаете? – спросил он строго. – Кого-нибудь ждете?

– Я поджидаю свои молитвенные принадлежности, – ответил я, как можно спокойнее. – Тот, кто привел меня сюда, заверил, что мне не помешают молиться. А также сказал – я вызван всего на несколько часов для выяснения некоторых вопросов...

Моя хладнокровная уверенность поразила его настолько, что он ничего не ответил. Только стоял неподвижно, изучая меня с головы до ног. Был он молод, не старше двадцати пяти лет; что-то неуловимо знакомое в облике почти не оставляло сомнений – он родом из Витебской, Смоленской либо Могилевской губерний и наверняка не еврей, а русский. Его глаза, как это свойственно обычно простым крестьянам, ничуть не скрывали обуревавших его чувств.

Мы молчали и пристально смотрели друг на друга. Потом я достал папиросу, он вынул свои, поспешно поднес мне горящую спичку и присел на скамейку рядом.

Теперь я был уверен: мое самовольное появление в этом коридоре не было нарушением тюремного порядка.

– Всего лишь половина четвертого, – пробормотал как бы про себя парень, – а сколько уже привезли. Большими партиями нынче ведут, братва работает свыше сил. Я и сам на четыре часа сегодня норму переработал... – и, наконец, обратился ко мне: – А вы сами откуда родом будете?

– Из маленького городка. Вы, должно быть, и не слышали – Любавичи... Это между магистралями Витебск–Смоленск и Орша–Смоленск. По одной – станция Рудня, по другой – Красное, а между ними...

– Любавичи... – протянул парень. – Ну, как не знать. Знакомо мне, хорошо знакомо. Я там еще ребенком бывал. И не такой уж он маленький... Там был большой базар, правильно? и два молитвенных дома, – и задумчиво спросил: – А Гусин знаете?

– А как же, – ответил я. – У меня там было много знакомых. И на станции Гусин и в окрестных деревнях. Евреев, конечно...

– А в Любавичах, – продолжал мой собеседник, видимо, тоже отдавшись воспоминаниям, – как сейчас помню, в большом дворе, близко к базару, Цадик жил. А на дворе был колодец с хорошей водой. Бывало, как приезжаем с отцом в Любавичи на рынок, обязательно бегу туда напиться. И лошадей туда водили на водопой.

– Да, да, – сказал я, и сердце радостно забилось от нахлынувших чувств. Помолчав, я поднялся.

– Думаю, мне пора в канцелярию...

– Угу, – кивнул он в ответ. – Да я и провожу вас, покажу, к кому обращаться... Вы, чай, не были еще здесь и не знаете, чего там делать положено.

– Вы правы. Откуда мне знать!

– Там сидят секретарши, – объяснил он неторопливо, – они вас будут спрашивать и записывать. А как ответите на анкету, пойдете в комнату на обыск. Там у вас все лишнее отберут: ну, деньги там, часы, и прочее. А уж потом конвоир отведет вас к корпусному, где будете в камере сидеть...

Я слушал его и особо радовался милости Б-жьей: Всевышний поддержал и укрепил мое сердце настолько, что услышанное не вызвало даже тени страха или тревоги. Действительно, я уже начал привыкать к своему новому положению. Надеюсь, и в дальнейшем, с Б-жьей помощью, смогу держать себя с

достоинством, не позволю растоптать имя еврея. И буду стоять на своем, не-взирая ни на какие козни нахмансонов и луловых.

– Через какой коридор, – вдруг спросил мой собеседник, – вас привели сюда?

– Через тот, – показал я рукой. – Но я устал от хождений по лестницам и увидел эти скамейки. Вот и присел отдохнуть.

– Этим коридором?!.. – он сердито и недоуменно уставился на меня. – Да кто вы такой на самом деле? Откуда вы и как давно в Ленинграде?

– Я раввин Шнеерсон из Любавичей. В 1915 году мы бежали от немцев и эвакуировались в Ростов-на-Дону, где и прожили до 1924 года. А в мае 1924 переехали в Ленинград.

– Не могу понять, – продолжал допытываться парень, – почему вас все-таки повели по этому коридору? – и закидал меня градом вопросов. – Где вас задержали? Наверное, в компании контрреволюционеров? Кого арестовали вместе с вами? Или, быть может, у вас нашли антисоветские материалы и прокламации?!.. А кто вас сюда доставил?

– Меня арестовали в моей квартире – на Моховой улице, в доме номер 22, квартира 12. Никого из посторонних дома не было, только моя семья. Никаких прокламаций я в глаза не видел и, следовательно, их не могли найти при обыске. А привели меня сюда ваши сотрудники Нахмансон и Лулов.

– Черт побери! – выругался он. – Ничего не понимаю. Отчего ж через тот коридор. Разве ж вы предатель?! – он почесал в затылке. – Или и этим коридором начал всякий пользоваться.

– Нет, тут что-то не так, – он посмотрел на меня чрезвычайно внимательно. – Наверное, вы что-то натворили такое... зазря через этот коридор не ведут. Скажи, земляк, правду, а то хуже будет...

– Мне нечего больше добавить, и я сказал всю правду: Нахмансон и Лулов довели меня до входа в этот коридор, что-то сказали часовому и ушли, а часовый указал мне на открытую дверь и велел туда идти. Но, как я вам уже говорил, я очень устал и, увидев эти скамейки, присел отдохнуть. Вот и вся правда.

– Нет, земляк, – не унимался мой собеседник, – тут неправда. Что-то здесь неладное, говорю. Врешь, земляк, а за это карцер, лишненькие два-три месяца получишь, если не больше. Жаль тебя, но что-то ты натворил. Лучше по-хорошему признайся...

– Химка, – заорал кто-то невидимый за кабинетной дверью, – чего заболтался? Ходи сюда скорей! Чего застрял?

– Сейчас, погоди, скоро приду, мне в контору надо, – Химка еще раз внимательно оглядел меня. – Нет, надобно все-таки узнать, в чем тут дело...

Только теперь – по удивлению Химки – я сообразил, в чем дело: тот темный коридор, куда направил меня Нахмансон, был специальный путь для особо опасных преступников. Сам факт, что меня привели именно этим коридором, указывал на особую тяжесть моей вины.

Ничуть не взволнованный этим открытием, я направился к широко раскрытой двери.

ПЕРВЫЙ КРУГ АДА

Переступив порог, я оказался в большой квадратной комнате с длинными столами вдоль трех стен. По одну сторону столов сидели секретарши – примерно двадцать женщин, все как одна с папиросами во рту. Не переставая курить, они усердно заполняли какие-то бумаги. Напротив, на длинных вдоль стола скамейках, сидели допрашиваемые «гости».

В комнате – три двери. Одна, позади меня, постоянно распахнутая настежь – для «особо опасных преступников». Другая, по правую руку от меня, вероятно, вела в какой-то иной коридор, по которому приводили обыкновенных «средних» арестантов (вот Химка и подумал, что меня привели оттуда). Третья дверь была смежной с загадочным «вторым» отделом.

Справа от себя, у стены, я увидел на полу свой саквояж. В комнате одновременно более сорока человек, но в то же время – ничего живого. Секретарши безостановочно писали на длинных бланках, время от времени кидая взгляд на сидящего напротив и задавая ему очередной вопрос. И вместе с тем царила в комнате гнетущая тишина, как будто нет в ней ни души. Настороженное, зловеще обволакивающее молчание... Так бывает в ночи, когда угасает, медленно догорая, свеча, а мрак теснее и теснее заволакивает все вокруг.

Не затрагивая тишину, шелестят полусшепотом вопросы, ответы. Лишь монотонно скрипят скользящие по бумаге перья.

На пустом пространстве в центре комнаты стояла, оборотась в разные стороны, группа совсем молчаливых людей. Надо полагать, надзирающих за порядком. Ни единым словом не перекидываются они между собой, как бы и не замечают друг друга, только глаза их быстро бегают из стороны в сторону, из угла в угол, настороженно-испытующе останавливаясь на каждом арестанте. Всматриваюсь в эту вооруженную «гвардию» и внутренне содрогаюсь: даже внешний их вид отвратителен – эдакие мордастые, краснолицые громилы с пронизывающими глазками.

Таким было первое мое впечатление от «круга первого», где начинается сплетение адских сетей, где каждое, записанное в анкету слово, становится кирпичиком «обвинения», которое построит в дальнейшем следователь. Конечно, с помощью клеветы и доноса. Казалось бы, здесь записывают всего лишь анкетные данные: имя, фамилию, год и место рождения, вероисповедание, домашний адрес и род занятий, состав семьи, имена и возраст ближайших родственников. Но, отвечая на эти и десяток других будто бы невинных вопросов, допрашиваемый из рассказчика превращается как бы в преступника, во всем признающегося обвинению. Видимая мягкость и вежливость секретарш только сбивает с толку и вконец запутывает мысли арестованного. А тем временем, по мере заполнения длинной анкеты, его положение становится все более и более плачевным. Безобидные анкетные данные и бесхитростные ответы на вопросы из разных рубрик анкеты превращаются позднее – в опытных руках следователей и прокуроров – в обвинительный

материал. Здесь умеют из любых признаний несчастного человека строить жуткие обвинения.

Один из надзирателей этой первой ступени ада ловит мой взгляд и знаком указывает на освободившееся место – секретарша закончила работу с очередным арестованным и передает его бумаги специальному курьеру из группы конвоя. Оказывается, здесь существует строгое разделение обязанностей – охранники, исполняющие различного рода поручения, одеты в разное обмундирование, по-разному вооружены и не вмешиваются в работу друг друга. Только курьер может забрать арестованного, и он же уносит его бумаги с проставленным на них номером – так называемым «ярлыком».

Это слово – «ярлык» – мы встречаем последние годы повсюду. В магазинах, например, где покупатель получает в кассе ярлык с номером своего пакета. Или на почте, где ярлык наклеивают на бандероль и посылку, а в квитанции указывают номер ярлыка. Здесь же, в Шпалерке, ярлык положен и арестанту. Однако, в отличие от иных ярлыков, которые приклеивают к упаковке, здешний ярлык крепят не к телу человека – к его душе: личное имя отныне заменяется номером. Человек-ярлык, занумерованный человек. Прежде чем попасть в этот отдел, человек может еще и не осознавать своего ареста, и сопровождавшие продолжают называть его по имени. Но как только за порогом этой комнаты заполнена упомянутая анкета, происходит необратимое превращение в арестанта, и человеческое имя заменяется многозначным номером.

Затрудняюсь сказать, что стоит за цифрами тюремного ярлыка. Числа месяца и дни недели? Простая очередность, или же номер отделения, куда направляют арестованного? Кто знает?! Человек, сидевший до меня за столом, стал заключенным номер 26803. Ничем не примечательный внешне и одеждой, лет под шестьдесят, он, судя по лицу, был добр и оставлял приятное впечатление: вел себя сдержанно, разговаривал тактично – возможно в прошлом был бухгалтером или каким-то руководителем, либо даже имел отношение к искусству. Конвоир, принявший его бумаги и анкету, просмотрел их бегло и сказал:

– О-го-го, сколько здесь понаписано!

Пенсне поехало с носа номера 26803, он задрожал.

– Иди за мной, – сказал конвоир повелительно. – И нечего волноваться. Скоро будешь отдыхать на соломенном матрасе...

Дальнейшего я не слышу, лишь смотрю, как несчастного 26803 уводят в соседнюю комнату...

– Присаживайтесь, гражданин, – говорит секретарша и протягивает мне листок. – Вы должны заполнить этот бланк и четко ответить на каждый вопрос. Пишите ответы вот тут, в пустой графе, что подле каждого вопроса.

Но бланк повисает в воздухе.

– Я не буду отвечать на эти вопросы, потому что они не имеют ко мне никакого отношения.

– Как? – поражается секретарша. – Вы не хотите подчиниться правилам?! Может быть, вы просто не знаете, что каждый, кто доставлен сюда, обязан заполнить анкету и честно ответить на каждый вопрос?

– Я не пришел сюда с визитом. Меня привели. И те, кто это сделал, отлично знают, кто я такой. Зачем же мне заниматься абсолютно бессмысленным делом?

– Гражданин, не забываетесь, – говорит секретарша строго. – Вспомните, где вы находитесь. Что у вас – ум за разум заскочил или вы собираетесь заводить здесь свои правила? Как ваша фамилия?

– Слава Б-гу, – отвечаю, – мой разум в полном порядке. Я знаю, что арестован и привезен в тюрьму Шпалерная. И никаких новых правил вводить не собираюсь. Моя фамилия – Шнеерсон, мой адрес – Моховая улица, дом 22, квартира 12. Но вашу анкету заполнять не буду, что и можете записать.

Секретарша берет в руки листок, записывает мое имя и адрес, потом спрашивает:

– Ваше социальное положение?

– Потомственный почетный гражданин.

– Этого сословия, – говорит она нервно, – уже не существует в нашей стране.

– Ничем не могу вам помочь. Существует в стране такое сословие или не существует, но именно таково мое социальное положение – потомственный почетный гражданин.

– Род ваших занятий?

– Я занимаюсь исследованием – Б-жественным исследованием, называемым Хасидизм. А кроме того – изучением законов и предписаний еврейской религии.

– Религии? – переспросила она удивленно. – Б-жественное исследование?...

– Да, да, именно Б-жественным исследованием. Единый Б-г, как мы знаем, сотворил этот свет и управляет с тех пор созданным им миром и всеми творениями – от мельчайших организмов, обитающих в море или безжизненной пустыне, до человеческого сообщества.

– Как я могу писать подобное в анкете? – перебивает она растерянно.

– А кто вас заставляет! По мне, так ничего и не пишите. Вернее, хотите писать – записывайте, не хотите – ну и не надо.

В этот момент в дверях второго отдела появились трое и стали, стреляя глазами по сторонам. Их ищущие взгляды останавливаются на мне, а выражение лиц подтверждает – они пришли сюда ради меня.

Один из них – кучер тюремной кареты, доставивший меня в Шпалерку. Двух других вижу впервые. Это молодые люди, в штатском, в коротких брюках и в шелковых цветных то ли английских, то ли американских рубашках, в красных высоких сапогах на пуговицах. Оба перепоясаны широкими ремнями с карманчиком для часов слева и револьверной кобурой справа. Холодные, спокойные лица, безукоризненные прически.

С их появлением будто морозный ветер пролетел по комнате. Мне показалось, что все сотрудники оцепенели от страха.

Пришедшие молча стоят в проеме двери. Секретарши съежились и ушли в свою писанину. Даже надзиратели в центре зала забеспокоились: кто покраснел, кто побледнел, глаза испуганные. Один из загадочной тройки достает из кармана брюк блестящий серебряный портсигар, берет папиросу и угощает

товарищей. Закурив, они продолжают наблюдать за моим столом, выжидая, должно быть, подходящий момент, чтобы подойти к нам.

У меня нет сомнений – их интересует моя анкета, и, надо полагать, им хорошо знакомо мое дело. Кто их знает, в каком отделе они работают и на какой должности, но одно очевидно: это высокое начальство, которое обычно сюда не заглядывает. Оттого-то их появление и привело всех в замешательство. Вполне вероятно, они хотят участвовать в заполнении моей анкеты и, возможно, намерены что-то подстроить, что поможет им в дальнейшем при фабрикации обвинения. Иначе как объяснить появление важных чинов там, где достаточно простой секретарши. Я жду настороженно: их вмешательство будет для меня последним доказательством заведомой сфабрикованности моего дела.

– Что же мне делать? – как бы про себя говорит секретарша и глубоко затягивается папиросным дымом. – То, что вы говорите, никуда не годится. Я должна записывать ваши ответы на анкетные вопросы, но никто вас не спрашивает о таких вещах, как Б-г, религия, заповеди...

– Скажите, – перебиваю я ее, – а можно ли курить и арестованному?

– Вообще-то, – отвечает она, – в этом помещении можно курить только служащим. Впрочем, если хотите, я сейчас спрошу разрешения, – произносит она нарочито громко, с явным расчетом, что ее услышат стоящие неподалеку высокие чины.

Ее расчет оправдался. Один из них тут же подходит к столу и, усмехаясь, спрашивает:

– Гражданин хочет курить?... Здесь это не запрещается – можете закурить.

Я вынул портсигар, и в тот же момент он протягивает мне свою папиросу – прикурить от нее. Но я, поблагодарив, отказываюсь, у меня есть спички.

– Не могу, – пожаловалась секретарша, – заполнить анкету этого гражданина. Он не отвечает на вопросы, мотивируя тем, что все это не имеет к нему отношения. Назвал только имя, фамилию, адрес и свое социальное положение.

Молодой человек берет в руки анкету, некоторое время рассматривает ее, затем поворачивается ко мне.

– Вы, я вижу, практически ничего о себе не сообщили. Но анкету положено заполнять. Таков порядок.

Он произносит это совершенно спокойно, даже равнодушно, словно начальник, прочитавший неудовлетворительный рапорт подчиненного.

– Безусловно, – продолжает он, – вы знаете, где находитесь. Хочу напомнить вам, что в этом учреждении существуют определенные правила и инструкции. Вы обязаны им подчиняться. Сотрудники этого учреждения, – добавляет он со смешком, – привыкли, что их просьбы исполняют незамедлительно и пунктуально.

– Мне хотелось бы воспользоваться, – говорю я, глядя ему в глаза, – представившимся случаем, чтобы выяснить один вопрос... Можно ли верить словам уполномоченных этого учреждения?!

– Не пойму, – пожимает он плечами, – о чем вы толкуете, гражданин.

– Ваш уполномоченный, который арестовал меня этой ночью, обещал, что мне позволят надеть тфилин и беспрепятственно молиться. Я нахожусь здесь уже полтора часа, а его обещание все еще не выполнено. Прошу отметить – это

было сказано им по собственной инициативе, без каких бы то ни было просьб с моей стороны. Тем более, меня и вызвали сюда на короткое время. По его словам, кто-то из вашего начальства хотел бы задать мне несколько вопросов, после чего я смогу вернуться домой...

– Не знаю, – говорит он недовольно, – зачем это ему понадобилось. Возможно, он хотел успокоить вашу семью или так... позабавился. А впрочем, какое мне дело, что он вам наобещал.

– Вам, может быть, и дела нет, но придется считаться с тем, что я – религиозный еврей и хочу надеть тфилин и помолиться. Никто на свете не может помешать мне в служении Б-гу. Об этом я заявил и в момент ареста, и ваш представитель – уполномоченный органов ГПУ, заверил меня в этом, добавив: «Хоть я и коммунист, но своего слова не меняю». А что касается анкеты – увольте. И те, кто меня арестовал, и ваше начальство прекрасно знают, кто я такой. Впрочем, могу повторить, я – раввин Шнеерсон и мое социальное положение – потомственный почетный гражданин. Родился в Любавичах. Учился в ешиве. Одиннадцать лет назад переехал в Ростов-на-Дону, а три года назад – в Ленинград. Занимаюсь исследованием хасидизма и предписаний еврейской религии. Как все религиозные евреи, политикой не занимаюсь и никакого отношения к ней не имею. Все, больше мне нечего добавить.

Мой решительный тон и уверенно-пренебрежительное покуривание папиросы – такие простые психологические приемы! – сработали безукоризненно. Он идет на попятный, но для видимости, как бы размышляя вслух, говорит: «Впрочем, этого вполне достаточно». Потом бросает: «Запиши, что сказал гражданин!» – и поворачивается уйти.

– А как с обещанной молитвой?! – останавливаю его вопросом.

– Об этом, – цедит он сквозь зубы, – поговорите с начальником отделения, у которого будете «сидеть», – и возвращается, еле сдерживая негодование, к своим друзьям. О чем-то пошептавшись, они для отвода глаз крутятся некоторое время по комнате и уходят.

Секретарша рвет старый бланк, записывает сказанное мною на новом и протягивает мне анкету на подпись. Внимательно прочитав, ставлю прочерк в многочисленных, незаполненных графах анкеты, потом расписываюсь.

– Подождите минутку! – она зачем-то идет с анкетой во «второй» отдел, а вернувшись, извлекает новый бланк – величиной с почтовую открытку. На чистом листке бумаги крупными черными буквами напечатано: «Ярлык №...»

Вот и наступил мой черед превратиться в многозначный номер... Но, оказывается, это не такая уж быстрая процедура. Секретарша берет толстенные гроссбухи – неперменные атрибуты страшного и в то же время бюрократического аппарата ГПУ, и что-то трудолюбиво пишет. Наконец, облегченно вздохнув, захлопывает гроссбухи и, подышав на печать, прижимает к моей анкете.

Откровенно говоря, я доволен, что печать поставлена в моем присутствии. Конечно, с еще большим удовольствием я бы вообще не появлялся здесь. Но уж коли так случилось и приходится мириться с каким-то минимумом канцелярских формальностей – спокойнее от уверенности, что анкету уже не подменят.

Секретарша берет ярлык и вписывает над многоточием цифру 26818. Все, думаю я, сейчас появится конвой и поведет меня во «второй» отдел или к начальнику отделения, где мне предстоит «сидеть».

– Ну, вот и готово, – произносит секретарша, еще раз просматривая анкету. – Немножко коротко, но содержательно!

Она переводит взгляд на меня и вдруг я вижу в ее глазах что-то похожее на жалость, и сочувствие. Взглянув по сторонам, она шепчет:

– Послушайте, может быть вы хотите что-то передать семье?.. Я могу это сделать даже сегодня, как только закончу работу...

Но я молчу угрюмо. Меня всерьез тяготит неопределенность моего положения, хочется ясности, окончательного решения, любого, какого угодно.

Не дождавшись ответа, секретарша собирает мои документы и приглашает следовать за ней. Оказывается, так распорядилось начальство – она проводит меня без конвоя.

Иду куда ведут, не на шутку расстроенный событиями этой ночи. Тягостные разговоры с Нахмансоном, беседа с Химкой и бередящие душу воспоминания о ярмарочном дне в Любавичах, потом пререкания с секретаршей, спор с ее начальством – я сыт по горло тюремными впечатлениями. Уже половина пятого ночи, но не понятно, что еще предстоит. Пусть будет разговор со следователем либо соломенный матрас в камере – лишь бы закончилась промежуточность нынешнего положения.

Проходим комнату, другую, третью и, наконец, попадаем в темный коридор: другой, не тот, куда меня направил Нахмансон. Здесь нет вооруженной охраны. Минуем коридор и начинаем спускаться по лестничным пролетам.

– Извините, – говорю секретарше, – но в вашей комнате остались мои вещи. Саквояж в зеленом чехле. Смогу ли я потом вернуться за ним?

Она не на шутку переполошилась.

– Почему вы не забрали его с собой?! Вам нельзя туда возвращаться. Для этого нужно специальное разрешение... Ладно, я сама схожу за ним или перешлю с кем-нибудь из конвойных. Вы же видите, какая здесь строгая охрана.

– Тут знаете как?! – шепчет она с оглядкой. – За самую малую провинность могут на три, на четыре месяца посадить. Неосторожное слово сказал или к арестованному симпатию проявил – и все... А лучше всего, – говорит она, подумав, – когда придем, вы сами скажите, что забыли вещи. Может, мне как раз и велят их принести... – она опять оглядывается. – Послушайте, а у вас тяжелые обвинения. Я ж теперь знаю, кто вы такой, но случайно слышала о вас и раньше. Вы уж поверьте – дело серьезное чрезвычайно и вам угрожает большая опасность... А знаете, кто о вас говорил? Один из тех троих, что пришли сейчас в нашу комнату. Ради вас пришли...

Мы спускаемся пролет за пролетом, и она все рассказывает и рассказывает. Временами ее слова кажутся мне совершенно неправдоподобными, а иногда, вдруг, я ощущаю их правдивость. Но кто бы мог подумать, что работая здесь, сохранит она в сердце искру человечности!

– Двенадцать человек привели этой ночью, – продолжает секретарша, – служителей культа. И русских, и немцев, и поляков, одного мутлу и одного еврея

– это вас. А троих – одного русского, грузина и поляка – провели с охраной через темный коридор (тот самый!) прямо в третий отдел и оттуда – в подвал. Расстреляли без расследования! Нам только их имена сообщили – занести по книгам.

Не покривлю душой, если скажу – то были очень тяжелые минуты. От увиденного и услышанного за последние часы и только что, мысли мои потеряли всякую стройность, в голове начался какой-то сумбур. Сердце учащенно забилося, ноги ослабели, как после долгой болезни, а тело затрясла неприятная и неудержимая дрожь. Но я не спрашиваю разговорчивую женщину, куда мы спускаемся. Уверен – в конце концов она скажет об этом сама. Я молчу и не смею задать этот легкий вопрос из-за страха услышать в ответ ужасное. Неизвестность, по крайней мере, еще позволяет надеяться...

– Вам повезло, – говорит она, наконец. – Кому велели заполнить анкету, с теми иначе. Ну, несколько дней, само собой, в камере посидите, а потом следствие.

А идем мы сейчас на первый этаж – к нашему контрольно-пропускному пункту, куда всех арестованных ведут. Теперь мне понятен наш долгий путь – в темноте, по железным лестницам, среди мрачных стен, в затхлом воздухе. Несведущему не избежать подозрения, а потом и уверенности, что его ведут в какое-то страшное место. Все та же система – запугать, утратить.

Секретарша осторожно стучит, и дверь контрольно-пропускного пункта открывается. Вооруженный охранник недоумевающе смотрит на нас.

– А где конвой?

– Мы без конвоя, – отвечает секретарша. – Мне приказали проводить гражданина в четвертый кабинет. Позвольте пройти.

– Пароль? – не унимается охранник.

– Откуда мне знать? Позовите... – она называет какую-то фамилию.

– Идите обратно в коридор, – говорит охранник, – а я позову товарища. Разрешит – впущу, здесь без разрешения оставаться не положено.

Мы стоим перед закрытой дверью.

– Видите, какая здесь охрана! – говорит секретарша. – На каждом шагу винтовка и штык.

Мне порядком надоела эта недетская игра в тюремные ужасы, отвратительные приемы запугивания, чтобы с первой же минуты сломить арестованного... Я жду, облокотившись о стенку. Наконец, выходит «товарищ» в зеленоватой рубашке без пояса. Лицо его чем-то перепачкано, длинные волосы цвета вороньего крыла всклокочены.

– Здравствуйте, – говорит секретарша. – Начальник распорядился повести арестованного этим коридором в четвертый кабинет. А я должна кое-что передать устно.

Чумазый «товарищ» измеряет меня взглядом с головы до ног. С каким презрением он смотрит на меня и мою одежду, как мал и ничтожен я в его глазах!

Почесывание в затылке, смачный плевок. Затем он зеваает нам в лицо и через силу выдавливает.

– Черт бы побрал всех арестантов на свете... Две смены уже отгрохал, только прилег отдохнуть... И принесла же вас нелегкая! Ну, какого дьявола вы прете

этим коридором, а не тем, каким всех арестованных ведут. Или сама не знаешь, куда эта дорога – в подвал и на вечный сон...

– Мне некогда, – женщина явно нервничает. – Прикажете пропустить нас... Там, в конторе, полно работы, некогда мне здесь канителиться.

– Ступай, – ворчит «товарищ» и разевает рот для нового зевка. Мы проходим, и он долго бубнит нам что-то в спину. Мне удается расслышать, «У, нелегкая на всех вас...» и трехэтажное «благословение».

Новый, на этот раз короткий, темный коридор, поворот – и мы попадаем в светлый. Несколько шагов – и входим в просторную квадратную комнату, где стоят четыре обычных канцелярских стола. Два пустуют, за другими типичные служащие: шуршат раскрытые гроссбухи, громоздятся кипы бумаг, документов – каждый углублен в свое дело.

Секретарша торопливо подходит к одному из чиновников.

– Ярлык номер 26818, – говорит она лаконично и кладет мои бумаги на стол.

С виду эти двое – типичные чиновники былых времен, привычные маскировать свое безделье ленивым переключиванием деловых документов. Они зевают, почесывают лысины, поднимают, не глядя, бумаги и тут же кладут обратно. Их движения замедленны, неуклюжи, но и выглядят они порядком измотанными. Надо полагать, их присутствие здесь глубокой ночью – не благородный жест, а дело вынужденное.

Секретарша что-то шепчет одному из чиновников на ухо. Услышанное ментально его оживляет, заставляет пересилить усталость и лень.

– Обождите вон там, – приказывает он мне и тычет пальцем в какую-то дверь.

– Позвольте, – я не забыл разговор с секретаршей, – но все мои вещи остались в кабинете, где я заполнял анкету. Каким образом я могу их получить? Может быть можно кого-то послать за ними?

– У нас лакеев нету нам вещички таскать, – отвечает чиновник раздраженно.

– Да и зачем они вам? В камеру все равно не пропустим. А что там у вас?

– Только самое необходимое: тфилин, талит, молитвенник, теилим и еще одеяло. Если кто-то из служащих их принесет, я с удовольствием оплачу услугу.

– Ишь, буржуйские повадки, чаевые давать... – бушует чиновник. – Слугу ему подавай. Не большие сами за собой вещи носить... А принадлежности культа, извольте знать, в здание тюрьмы вносить запрещено. Все равно начальник отделения отберет. Так что какое вам дело, где они останутся – в конторе или на складе. И вообще, пора бы вам позабыть эти глупости. Вы же арестованный – зарубите себе на носу!

– На протяжении двух часов, – начинаю я с некоторой горячностью, – мне уже в десятый раз напоминают о моем аресте. Позвольте, в свою очередь, сообщить вам: не только я, но и вы арестанты. Вы точно так же не имеете права покинуть без разрешения это здание. И в точности, как я, обязаны подчиняться тюремной дисциплине, исполнять любые приказы. И стоит ли вам, такому же арестанту, подчеркивать свое презрение к святому для другого арестанта? Тем более, закон позволяет мне требовать свои вещи и не запрещает молиться.

Горячность, с которой это было сказано, явно производит впечатление. Он не знает, что ответить, и молча теребит плюгавые усики. Вздрогнул и очнулся второй чиновник; забыв о бумагах, он изумленно смотрит на нас. Надо думать, эти чинуши не слишком часто слышат подобное от заключенных, да еще высказанное столь резким тоном. Но скопившаяся за ночь злость выплеснулась из меня.

Чиновник встает, рывком открывает дверь.

– Посидите, пока вас не вызовут!

И запирает ее за мной.

ВТОРОЙ КРУГ АДА

Крошечный, изолированный кабинет. Красные стены и зарешеченное снаружи типично тюремное окно. Стол, несколько стульев.

Присаживаюсь.

На стене часы. Без двадцати пять... Что делают сейчас мои дорогие?

Наверняка, друзья уже извещены о моем аресте. Не сомневаюсь, весть об этом добежала и до Новой Деревни¹... Невольный вздох, но тут же одергиваю себя. В такую минуту, в такой ситуации, нельзя беречь себя грустными мыслями. Сейчас не время для уныния и печали. Это место и мое положение в нем – зывают о милости Б-га. Да поддержит Он твердость духа моего и вдохнет в меня бодрость! Однако и мне надлежит понять – сердцем и разумом – нынешнее проявление Б-жественного промысла. Это понимание может придти ко мне только после глубоких раздумий... и перед глазами встает светлый образ Ребе – моего отца....

Отец, святой отец!

Скорее всего, я не слишком долго задержусь в этой камерке. Нужно готовить себя к иной – истинно тюремной обстановке, т.е. к ситуации мне неизвестной, и, вероятно, очень похожей на Петропавловскую крепость или Тайный Совет. Я обязан, я должен окончательно успокоиться, чтобы не показать в дальнейшем волнения или тревоги, не проявить и минутной слабости. Ни на йоту в сторону от принятого твердого решения – не позволять этим негодьям топтать величие Яакова! Да поддержит меня в этом Всевышний!..

Трех часов не прошло, а как я устал! Разламывается голова, остро колет в левом боку – это сердце, разболелось горло и ноет все тело. Но не время прислушиваться к болям физическим, ничтожным в сравнении с душевной болью. Прошу Тебя, Всевышний, обрати взор Свой на страдания Твоего народа. Не меня заточили в тюрьму и не меня карают. Ибо кто я такой?.. Только сын своих святых родителей, только один из камней фундамента, на котором покоятся столпы Твоего Двора и Двора Торы...

Без пяти пять. Как бы хорошо, если бы принесли теперь мои вещи и дали помолиться в этом кабинете! Тот, чьим словом сотворен мир, уже предписал

¹ Новая Деревня – поселок под Ленинградом, где проживало много хасидов, в том числе и близких друзей Ребе.

однажды еврею в определенный день и час пройти в светлый коридор – место, где я присел отдохнуть – и произнести там Утренние Благословения и псалом, предназначенный для людей, которых постигло несчастье. Как знать, может и это место уготовил Он еврею для молитвы?!

По замыслу строителей, думаю я, эти мрачные казематы предназначены для мук и гнета. Но именно в силу этого оказавшийся здесь еврей обязан обострять свой разум и чувства, читая отрывки из Торы и Теилим. И размышлять о величии Творца, о том, что славой Его полна вселенная и даже это разбойничье гнездо. И о том, что повсюду отводит Он место для молитвы...

Перед глазами встают картины далекого детства. Крым... Мне шестой год, и мы едем всей семьей из Севастополя в Ялту. Карета, как принято в тех местах, запряжена четверкой лошадей – совершенно необычное и остро-интересное для меня зрелище. Я так поглощен им, что почти не замечаю красивой дороги среди скал и гор, вершины которых словно упираются в самое небо...

На полпути между станциями мы останавливаемся на специальной площадке, где пассажиры отдыхают, а извозчики кормят лошадей. Отец уходит в расщелину между двумя нависающими скалами и сосредоточенно молится; мать хлопотливо готовит какую-то еду – нам предстоит еще долгая дорога.

Меня тянет к лошадям, мне хотелось бы посмотреть, как их кормят, но останавливает чувство долга.

В Ялте меня ожидает новый меламед, и неизвестно, сможет ли отец заниматься со мной. Он начал учить меня незадолго до этой поездки и уже объяснил значение некоторых слов в сидуре. Затем здоровье отца ухудшилось, и врачи рекомендовали ему поменьше разговаривать. Тогда-то он и позаботился о меламенте, но все же обещал, хотя бы изредка, заниматься со мной.

Сыновний долг обязывал беречь здоровье отца, однако, я не мог подавить в себе страстное желание продолжить наши занятия. И детским умом решил улучшить его здоровье примерным своим поведением. Оно и было примерным с самого начала нашей поездки. Я исполнял любые требования родителей наилучшим образом. Так и сейчас – отвернулся от лошадей, взял Сидур и, усевшись на теплый от солнца камень, начал повторять пройденное – песнь «Небеса провозглашают славу Всевышнего».

Вернувшись, отец ласково погладил меня по голове и показал на высокую гору.

– Посмотри на нее, – сказал мне папа. – Несколько лет назад на этом самом месте, как и сегодня, останавливались твой дядя и я. Мы пошли молиться, стали подниматься на гору, и неожиданно увидели в голой скале пещеру, а внутри ее – удобные камни, на которые можно было присесть...

– Всевышний создал мир, – пояснил отец, – в котором повсюду есть место для исполнения Его Мицвот. Ты знаешь – еврею не следует молиться на открытой местности. Но если время молитвы застанет его в пути, среди скал, например, то даже и здесь Он сотворил пещеры – как бы дом для молитвы.

Повсюду есть место для Его Мицвот!

Я вспоминаю тот день моего детства, и в сердце вспыхивает надежда. А вдруг удастся помолиться в этом кабинете!?!...

Дверь резко открывается.

– А ну, иди сюда... – кричит чиновник. У дверей меня поджидает вооруженный солдат: в левой руке обнаженная сабля, в правой – винтовка.

– Ваши вещи?

– Мои, – отвечаю. – А можно сейчас помолиться? С вашего разрешения, я пройду в тот кабинет... Будьте любезны, – повторяю я, не слыша ответа, – разрешите мне задержаться здесь на 15–20 минут и надеть тефиллин, – с этими словами я торопливо извлекаю их из саквояжа.

– Нет! – отрубает он наконец. – Да вы что – молельню тут у нас хотите устроить?!... – Он перебирает содержимое саквояжа. – Деньги, часы, золотые и серебряные вещи – изымаются. Арестованному не положено иметь при себе драгоценностей, – повторяет тюремщик, хотя никаких драгоценностей у меня нет и в помине. Он говорит монотонно, должно быть, вслух повторяет инструкцию: – Конфискованные вещи при освобождении возвращаются. В случае перевода арестованного в другую тюрьму, конфискованное пересылают туда же. Вещи казенных передаются членам семьи...

Но конфискации подлежат лишь мои простые часы и 85 рублей денег – все что у меня было. Чиновник долго считает их, опять пересчитывает, записывает в реестр и дает мне расписку.

– А теперь, – говорит он солдату, – забирай ярлык 26818 и веди в шестое отделение. Но вещички нести придется тебе – гражданин сильно болен...

– Так точно, – отвечает конвоир, – только как же я понесу? Руки ж заняты.

– Не беда, – смеется чиновник, – можешь засунуть свою саблю в ножны, а винтовку – в его барахло. Не сбежит он от тебя, не бойся. Ты ж такую блоху двумя пальцами разотрешь...

Тфилин остаются у меня в руках. Конвоир прячет саблю, подхватывает мои вещи и, пренебрежительно взглянув на меня, распахивает дверь.

Мы идем очередным коридором, где буквально через шаг – вооруженная охрана. Сколько их здесь! Ведь кроме отделения, куда меня ведут, есть еще пять, и в каждом, как я узнал впоследствии, более ста камер.

Конвоир посматривает на меня свысока, а охранники насмешливыми улыбками провожают бородатого еврея, в шапке раввина и с просветленным лицом...

Наконец, выходим к решетчатым железным воротам. Очередной караульщик читает сопроводительные бумаги, ставит печать на моем ярлыке и открывает ворота в «круг третий».

ТРЕТИЙ КРУГ АДА

И опять мы идем коридором, освещенным тусклыми лампочками. Я начинаю умолять конвоира – не просить, а именно умолять, в полном смысле этого слова, – разрешить мне надеть тфилин.

– Нет, говорю, – конвоир неумолим. – А будешь упрямитесь – отведу в карцер.

Но я продолжаю настаивать. Объясняю, что я – религиозный еврей, и мне нужно, необходимо, надеть тфилин хотя бы на несколько минут. Конвоир невозмутимо покуривает и даже снисходит сказать, что тфилин для него не новость. Он жил когда-то в маленьком местечке, неподалеку от синагоги, и не раз наблюдал молитвы евреев. Тем не менее, категорически нет и нет!

Он идет впереди, я – за ним. Убедившись в бесплезности увещаний, решаюсь молиться на ходу, но только успеваю надеть тфилин на руку, как вдруг – удар, и я качусь по железным ступенькам. Слава Б-гу, не ломаю в падении руки и ноги.

С большим трудом поднимаюсь на ноги, ощущая при этом сильнейшую боль. Падая с лестницы, я сломал металлический бандаж (который вынужден носить уже много лет), и острый кусок железа вонзился в тело. Сердце мучительно сжимается от боли, чувствую, еще немного – и потеряю сознание.

– Еще не то получишь от начальника, – вопит охранник. – Все доложу о твоих молитвах! Вот полежишь в грязи да с крысами недельку, тогда и поймешь, что Шпалерка – не синагога, не молельня еврейская...

С великим трудом одолеваю последний пролет, плетусь за ним широким коридором, и – снова лестница, ведущая вверх. Нужно подняться на третий этаж.

Вынужден присесть на ступеньку. Кровь идет, не останавливаясь, боль становится нестерпимой. Превозмогая ее, хватаюсь за перила и тяжело поднимаюсь шаг за шагом. Конвоир давно наблюдает за мной с верхней площадки, а я все ползу, как дряхлый, больной старик...

Начальник шестого отделения выходит встречать «почетного гостя» на открытую галерею. Он явно получил из главной тюремной конторы какие-то распоряжения, но кто его знает – благоприятны они или нет.

– Ярлык 26818, – говорит конвоир и отдает мои документы. – Хорошо! – орет начальник. – Очень хорошо! Давай свой товар, давай, скучно руки сложа сидеть, – он перегибается через перила и следит, как я плетусь по третьему маршу. – Веселей, старикан, чего карабкаешься! Время дорого...

Наконец поднимаюсь на галерею и стою, тяжело дыша, с тфилин в руках.

– Ступай на обыск! – кричит начальник и, радуясь чему-то, начинает посылать. – Петя! – орет он так, что возвращается зычное эхо. – Прймай товар! Ярлык пришел, давай в работу!

Из какой-то ниши выходит Петя – то ли человек, то ли зверь, существо страшное, похожее на беса. На нем ни оружия, ни формы, он среднего роста, с огненным лицом и рыкающим, львиным голосом.

Приблизившись, Петя оценивающе меня разглядывает, но в лицо, как все люди, не смотрит. И в дальнейшем я ни разу не видел, чтобы он кому-то смотрел в глаза.

– У, какое гнилье нынче водят, – рыкает Петя. – Нечего сказать, хорош паразит – бородатый жид. Давай на обыск, жид! Мы тебя здесь распотрошим, по косточкам разберем.

Похоже, что Петя – ответственный работник при здешнем складе, где лежит товар «ярлыков», попадающих в замок, именуемый Шпалеркой.

Петя идет быстрым шагом, но вынужден все время останавливаться.

– Чего хромаешь? – рывкает он опять. – Али от нашего воздуха ноги подкашиваются? У нас тут атмосфера здоровая, верно? Тут дают аромат понюхать... оч-чень полезный для таких паразитов, как ты. От таких ароматов прекрасных в первый день навзничь падают – словно болезнь пришибла...

Он опять выскакивает вперед и снова стоит, поджидая.

– Два-три дня лежат, – продолжает Петя, – пока врач не придет. А бывает, врачу уже и делать нечего, кроме как причину смерти назвать.

Из-за раны, в которой сидит острый край железки, я передвигаюсь все медленнее и медленнее. После каждого шага приходится останавливаться – передохнуть. Чувствую, как течет кровь из раны; жуткая боль останавливает временами сердце.

– Что это ты на лицо такой белый? – интересуется Петя. – Неужто болен? – он ржет. – После обыска можешь и умереть спокойно. Никто мешать не будет. Врач отношение напишет, начальник печатью шлепнет, в конторе зарегистрируют, ярлык твой вычеркнут, а хлам туда – в нижний колодец.

Не могу сказать, что его слова не производят на меня впечатления. Но не то, на которое рассчитывает Петя. Я думаю, какое нравоучение можно извлечь из услышанного. Знаменитое изречение Баал-Шем-Това гласит: все, что видит человек, и все, что слышит, должно служить ему для самоусовершенствования. Не требуется особой пронизательности, чтобы понять – услышанное мною должно пробуждать раскаяние. Только осознание предначертанности и непоколебимая вера в помощь Всевышнего могут укрепить человека здесь – где пляшет Сатана и царствуют силы, толкающие человека на порочный путь...

Боль усиливается необычайно, не могу шевельнуться и невольно останавливаюсь.

– Чего притворяешься? – яростно набрасывается на меня Петя. – На носилках прикажешь тебя нести? Чего кокетничаешь, жидовская морда!...

– Куда пропал, Петя? – доносится крик из-за близкой двери. – Где ярлык? Давай сюда скорей, ждать надоело.

– Иду, иду, – отвечает Петя и ворчит, словно злобная шавка. – Вишь, ему уже ждать надоело. Вот, черт, собака подлая.

С Б-жьей милостью, добираюсь до окованной железом двери. В крошечном кабинете, без окна, горит яркая лампа.

– Забирай свое дранье, – говорит Петя. – Ну, что за товар! Через час сдохнет. Чиновник за столом довольно ослабил.

– Что ж делать, браток. Раз другого нет – и такой сойдет. А ну-ка, – обращается он ко мне, – давай пошарим, чего у тебя там в карманах... Наскоро обыскав меня и ничего интересного не обнаружив, он переходит к моим вещам.

– А ты ступай на свое место, – говорит он Пете. – Как закончу – позову...

С трудом присаживаюсь на единственный, колченогий стул; чиновник тем временем неумоимо, как собака-ищейка, роется в саквояже и выбрасывает на стол тфилин Рабейну-Там и Шимуша-Раб¹, пояс и книги. Тфилин Раши я по-прежнему держу в руках. В надежде на чудо, прошу разрешения помолиться.

– Нет! – бросает он с ненавистью, даже не глядя в мою сторону.

И словно подтолкнуло меня. Мигом повязываю тefиллин на руку, надеваю на голову – он продолжает стоять ко мне спиной – читаю «Шма Исраэл», затем начинаю молитву «Шмона-Эсрей»... В этот момент он заканчивает обыск, оборачивается и видит на мне тфилин.

Потрясенный, он смотрит на меня широко открытыми глазами, полными удивления и растерянности. Какое-то время молчит – видимо, от неожиданности потерял дар речи. Но его замешательство длится недолго, опомнившись, он превращается в дикого зверя. Физиономия искажается, принимает звериный оскал, кровь ударяет в лицо. Двумя руками вцепляется в тфилин шел-рош² и вопит:

– У, жидовская морда! В карцер посажу, изобью, изувечу... – и рвет с меня тфилин. Заканчиваю благословение: «...и царствуй над нами, Ты сам, Всевышний, с любовью и милосердием». Чувствую, он вот-вот разорвет ремешки, и начинаю снимать тфилин.

– Петя! – басит тюремщик. Он понемногу успокаивается и говорит: – А знаешь, мне жаль тебя, старый. Ты же скоро помрешь: вон – лицо белое, губы – черные – долго не протянешь... – и внезапно спрашивает: – Чем хвораешь? Скажи.

Я молчу, мне понятна их общая, подлая цель – любыми способами запугать арестанта насмерть. Что большое начальство, что последний надзиратель – все они играют с «ярлыками», как кошка с мышью.

– Ну, что там? – не поднимая глаз, спрашивает злобный Петя.

– Как что? – переспрашивает чиновник. – Не знаешь, что ли?

– Можно хлам забирать? Уже записан?

– Ах, нет, постой, – весело говорит чиновник, – сейчас занесу его в книгу. Номерок дадим, наклейку приклеим, все чин чином должно, по закону.

– Охота тебе, – ворчит Петя. – Сколько возишься с этим дерьмом. Давай его в расход – и конец. Все равно не выдержит, через день-два помрет.

– Нет, так у нас дела не делаются, – приговаривает чиновник, усердно заполняя толстенный гроссбух. – У нас все по закону: аккуратненько запишем, дадим ярлычку номер и наклейку. А если хворый – тоже запишем и сразу отношение к доктору... Что у нас нынче? Среда?... Вот коли успею сегодня к отправке, значит не позже понедельника и осмотр... Если доживешь, старый, если не освободят тебя до понедельника от всех болезней...

– Одна пилюлька, – вмешивается Петя и даже как-то светлеет лицом, – всего одна пилюлька и готово!

– Это уж, как начальство прикажет, – обрывает чиновник. – Ты, Петя, опытный, порядок знаешь. Как будет приказ для товара в расход, так сразу и выдам.

– Знаю, знаю, – отзывается Петя. – А по мне бы – так хоть и сейчас. Уж очень мне нравится, как они корчатся, смотреть... Есть, конечно, и такие, ведешь их – они, как мертвые, а начинаешь раздевать – уже и помер со страху... Это нехорошо, неинтересно... А вот когда кровь льется – тогда приятно смотреть... Иногда

¹ Рабейну-Там и Шимуша-Раба – ученые-талмудисты, по имени которых называются различные виды тфилин, изготовленные согласно их объяснениям о порядке расположения отрывков из Торы, помещаемых в тefиллин. Существуют также тфилин Раши и тфилин Раавад.

² Тфилин, возлагаемый на голову.

пять-шесть часов с уборкой терпишь, все ждешь, пока он кончится... Хорошо, забавно, страсть, как люблю смотреть – одно ж удовольствие...

– Ну, вот и готово, – откидывается на стуле чиновник. – Ярлык 26818 помещаем в камеру номер 160, наклейка четвертая³, – и оборачивается ко мне. – Теперь тебя зовут сто шестидесятый, четвертый. Запомнил?!... Ну, Петя, принимай сто шестидесятого, четвертого и ступай.

Пыхтя от натуги, Петя неуклюже расписывается, а начальник смотрит на него с презрением, словно барин на холопа. Затем проверяет результаты Петиних трудов и бросает: «Полный порядок!»

– Ну, вот, – отдуваясь, говорит Петя, – теперь ты мой. Иди, говорю, ступай на отдых. А вещички-то свои – приברי!

На столе, на груде моих вещей, в беспорядке лежат тфилин. Счастье, что чекист не вскрыл их, не распотрошил. На мгновение мелькает надежда: а вдруг разрешат забрать их в камеру. С мольбой прошу об этом и напоминаю обещание Нахмансона.

– Забудь, – смеется чиновник и покровительственно поучает: – Оставь, по-хорошему тебе говорят, свои глупости. Ты – арестант, запомни это, ну, и веди себя, как положено. А что положено – забирай. Вон твоё бельё и платки...

Я снова повторяю свою просьбу, и тогда он переходит на казенный тон.

– По всем вопросам, – цедит он сухо, – которые не входят в мою компетенцию, следует обращаться к высшему начальству... – и сбивается. – Короче, распорядится начальство, так я тебе чего хочешь выдам.

– Но ведь здесь – вы начальник! – говорю я мягко. – К чему мне высшие инстанции?... Об одной лишь милости вас прошу – дайте мне с собой тфилин и книги. А всё остальное – бельё, платки, продукты – мне не нужно.

Как велика ты, сила покорной и мягкой мольбы! Даже каменное сердце на минуту смягчилось, что-то человеческое проснулось в бандите – он задумчиво жует губами и чешет в затылке.

– Нет! Нельзя! – вылезает Петя. – Ступай! Иди.

– Нельзя, – соглашается начальник. – В самом деле, не могу. Без начальства – не могу. А хочешь, пиши заявление. Вот тебе бумага – и пиши.

Присаживаюсь и вижу напротив себя, на стене кабинета, листок – тюремные правила⁴.

³ Т.е. четвертый по счету человек в камере.

⁴ Среди набросков к «Запискам об аресте» сохранился перечень тюремных правил, записанный Ребе: а) персоналу воспрещается вступать в разговор с заключенными; б) все камеры должны запираются на два замка; в) заключенные обязаны ложиться спать по команде и вставать в установленное время; г) днем спать воспрещается; д) воспрещается перекрывать глазок; е) запрещается смотреть в окно (запрещение бессмысленное, комментирует Ребе, поскольку через окно ничего нельзя увидеть); ж) воспрещается выбрасывать какие-либо предметы в окно; з) ночью воспрещается курить и разговаривать; и) воспрещается обращаться с просьбами к персоналу, начиная с 11 часов вечера и до 7 часов утра; к) воспрещается разбивать находящуюся в камере посуду (в чем смысл этого запрета, комментирует Ребе, понять трудно: металлическая посуда не бьется, а стеклянную в камеру не пропускают); л) каждый заключенный обязан мыть пол в камере; м) каждый заключенный обязан подчиняться распоряжениям тюремщика, ответственного за «ярлыки», т.е. за арестантов; н) в случае неподчинения заключенного распоряжениям охраны или нарушения им одного из перечисленных правил, надзиратель вправе по своему усмотрению лишать провинившегося еды или кипятка на день или два, либо довести до сведения начальника отделения и поместить заключенного в карцер на день или два, а в некоторых случаях сроком до недели.

Оказывается, и у арестанта есть какие-то права, особенно, если у него есть деньги. В частности, я могу отправить свое прошение даже телеграммой. Нужно только указать на бланке, что я плачу со своего счета, из денег, оставшихся в тюремной конторе. Не мешкая, решаю воспользоваться своими «правами» и телеграфировать требование. Беспокоит одно – лишь бы Петя не запротестовал против задержки. Как я понял из их разговора, до сигнала подъема заключенных, который должен дать Петя, остались считанные минуты, и ему ничего не стоит увести меня под этим предлогом.

Не переводя дыхания, тут же набрасываю три телеграммы с одинаковым текстом, «Прошу разрешить начальнику шестого отделения немедленно выдать необходимые мне для молитвы тфилин. Духовный раввин И. Шнеерсон. Шестое отделение сто шестидесятая камера».

Телеграммы адресую главному прокурору, начальнику Шпалерной тюрьмы и следователю Нахмансону.

– Вот это размах, – смеется чиновник, читая телеграммы. – Смотри кому пишет! Главному прокурору, в ГПУ и следователю...

В правилах, которые я быстро прочел, но запомнил почти дословно, было и такое: можно потребовать расписку, что телеграммы приняты. Хоть какая-то гарантия!

– Кончил? – Пете не терпится. – Теперь успокоился? Ступай.

– Минутку, – я-то не спешу, – позвольте получить квитанцию.

– Какую еще квитанцию? – похоже, он никогда не заглядывал в правила, висящие за его спиной.

– Ту самую, – отвечаю многозначительно, – что следует мне по закону.

Коль скоро упомянута буква закона, чиновник мгновенно смиряется и пишет на клочке бумаги расписку. Потом ставит на нее печать и на каждую телеграмму в отдельности и прячет их в пухлый, казенного вида конверт. Успокоившись за судьбу своего требования, покоряюсь нетерпеливому Пете.

Он торопится и яростно проклиная все на свете, в первую очередь меня. Стараюсь не слушать Петину брань и разглядываю открывшийся с галереи внутренний вид Шпалерки.

Зодчий этого здания был человеком изобретательным и построил тюремный замок, из которого не убежать. Те, кто испуганно озираются на Шпалерку с улицы, видят ничем не примечательный дом, неотличимый от соседних. Но это лишь внешность, фальшивый фасад, за которым скрывается не имеющее себе подобных истинно тюремное сооружение.

Шпалерка – это как бы цитадель в цитадели, за внешней крепостной стеной прячется такая же – внутренняя, отделенная от первой трехметровой ширины проходом. Похоже, как если бы меньший ящик вставили в больший. И стенки внутреннего ящика, опоясанные по высоте галереями, – это мрачная вереница железных дверей.

Камеры, камеры, камеры... мы идем мимо них, наш путь оказался не близок. Убедившись, что меня не поторопишь, Петя прекращает сквернословить. Теперь он лезет из кожи вон, пытаясь напугать меня, ввергнуть в панический

ужас. В его рассказах потоками льется кровь – единственное, о чем с удовольствием говорит этот изувер. Оказывается, больше всего ему нравится наблюдать агонию «всяких попов и буржуев».

– Вот, раз было, – урчит Петя, – один все корчится и корчится, не хочет помирать. Шестерых уже в яму сбросил, а этот никак не кончается... Как ты был, в точности, – бледный да полный, но живучий, собака, то рукой дрогнет, то ногой, аж ждать надоело.

– Товарищ мой за получкой ушел. Четыреста двадцать целковых заработал (60 рублей за каждое убийство!) и три бутылки водки дали... Ему что! – кокнул и пошел, а моя работа хлопотная, из камеры в приготовительную приведи – намучаешься, а потом, когда дело сделано, – хлам убирай, полы мой, да стены скобли от крови...

– Да-а..., так вот корчится он, корчится, надоело. Решил за чайком сходить, вернулся – опять трепыхается. Ну, так, понимаешь, приятно смотреть, загляделся и чай без сахара выпил, забыл положить. Из-за тебя, думаю, сволочь!... Как дал ему два раза ногой, из него и дух вон. Кровь из горла бульк, и черный стал, как жук...

Рассказы двуногого подобия человека уже не пугают меня, но врезаются в память навеки⁵.

– Тебя бы, – говорит на прощание Петя, – в отдельную камеру нужно садить. Ты же смертник, а смертникам отдельная полагается, одиночка. Да, вишь, все переполнено...

– Ступай сюда! – он достает огромный ключ, отпирает один замок, потом, ключом поменьше, другой, и открывает дверь. Не успеваю войти, как он двумя руками вталкивает меня в камеру.

Дверь захлопывается, щелкает замок.

⁵ В оригинале «Записок об аресте», опубликованном на иврите, все слова Пети приводятся Ребе по-русски (в еврейской транслитерации).

От издательства

На изложении событий предыдущей главы обрывается последовательный авторский рассказ о заключении Рабби Йосифа Ицхака Шнеерсона в тюрьму. Однако, отложив «Записки», Ребе неоднократно возвращался к истории своего ареста – в отрывочных записях, публичных выступлениях и переписке, а также вспоминал в кругу друзей отдельные эпизоды своего заточения в Шпалерку и время пребывания в ссылке. Некоторые из этих рассказов были записаны.

Продолжение книги – свободный пересказ дальнейших событий в тюрьме и ссылке, составленный на основе упомянутых воспоминаний, а кроме того – закулисная сторона освобождения Ребе, в которой принимали участие десятки и сотни людей во всем мире.

ПРИГОВОР

Напрасно Нахмансон пренебрежительно отмахнулся от общественного мнения. Заточение Великого еврея в Шпалерную тюрьму вызвало бурю! Весть об аресте Рабби Йосифа Ицхака Шнеерсона мгновенно распространилась по всей стране и проникла на Запад. Уже наутро возле дома Ребе, на Моховой, собралась огромная толпа хасидов и даже нерелигиозных евреев, быть может, впервые – с арестом Ребе – осознавших свою причастность к еврейству.

В тот же день, вечером, на квартире у Ребе стихийно, не сговариваясь, собрались руководители ленинградских общин, крупнейшие адвокаты, представители всех слоев еврейского населения города, кроме, разумеется, коммунистов. Пришли все, кто ощущал себя ответственным и полагал, что в силах хоть чем-то помочь освобождению Ребе. Устраивать совещание в доме Ребе было рискованно: что стоило ГПУ нагряться с повторным обыском. Ведь во время первого, весьма поверхностного, даже не были тронуты драгоценные рукописи и переписка. Эти документы следовало срочно перепрятать, чему мешало присутствие людей; собравшимся, в свою очередь, нужно было уединение.

Нашли укромную квартиру, где и совещались до глубокой ночи, обсуждая сложившуюся, исключительно сложную ситуацию.

События последних месяцев предельно раскалили политическую обстановку в СССР. Страна готовилась к войне. Великобритания демонстративно разорвала отношения с Советским Союзом, выслала его дипломатических представителей и предъявила СССР резкий ультиматум. Советское правительство прекрасно знало экономическую и военную слабость страны, еще не поднявшейся после гражданской войны, и поэтому в страхе гремело истерически-воинственными речами. Все жили с ощущением войны на самом пороге.

Была объявлена готовность номер один для армии и флота. По воинским гарнизонам прокатилась волна маневров и учений. Но самый накал газетной и партийно-правительственной шумихи начался после убийства в Варшаве советского полпреда Войкова 7-го апреля 1927 года. И хотя белоэмигрант Коверда, стреляя в Войкова, сводил личные счеты с советской властью, мстительное ПТУ

немедленно расстреляло двадцать ни в чем не повинных людей, не имевших к выстрелам Коверды никакого отношения.

Как обычно, советский режим отозвался на опасность извне усилением внутреннего террора. ГПУ хватало всех подряд – и правых, и виноватых, а в подвалах ГПУ безжалостная «тройка» без суда и следствия, без всякого подобия судебной процедуры и даже заочно приговаривала людей к расстрелу.

В этой ситуации Ребе ежеминутно угрожала смертельная опасность. Но и любой неверный шаг мог оказаться роковым. Нужна была предельная осторожность и точная взвешенность каждой попытки. Например, первым делом отказались от «тихой дипломатии» (этот термин появился сравнительно недавно, в последней трети XX-го столетия, но общеизвестные принципы «тихой дипломатии» успешно использовались Западом с первых лет существования советской власти). При всей эффективности неофициальных личных просьб видных западных лидеров, в данном случае этот путь был слишком опасен. Прослышав о постороннем вмешательстве, разъяренное ГПУ Ленинграда способно было спешно расстрелять Ребе.

Эти соображения не оставляли иного выбора, как использовать связи исключительно внутри страны. Вспоминая и учитывая личные контакты, составляли списки основных советских инстанций, а также влиятельных политических деятелей, на личную гуманность которых можно было рассчитывать.

Совещание закончилось к утру, и уже в полдень окончательно продуманные и выверенные списки были переданы по телефону в Москву. Наступила очередь действовать московским активистам, а на помощь им, для координации действий, в столицу выехал Шмарьяху Гуарье – зять Ребе, присутствовавший при аресте.

К его приезду москвичи все обдумали и предложили дополнительные варианты. Их нельзя было обсуждать на квартире из-за опасности нарваться на подслушивающее ухо ГПУ. Для переговоров остроумно выбрали гулкий зал центрального банка Москвы, где постоянно толкуются сотни людей. Здесь и провели совещание.

В дополнение к ленинградскому плану москвичи предложили использовать имевшиеся у некоторых личные контакты с ответственными работниками ГПУ Ленинграда (среди них насчитывалось немало евреев, и близкие родственники этих нелюдей готовы были рискнуть и вступить в переговоры о Ребе). Этот путь был самым быстрым и надежным, он исключал озлобление ленинградского ГПУ, с чем все время приходилось считаться.

Москвичи убеждали не торопиться с высшими лицами государства. Сколько было случаев, напоминали они, когда ревнивая власть на местах, заподозрив вмешательство сверху и желая сохранить свой престиж, поступала наоборот. Хуже того – убивала, хотя раньше и не помышляла убить. Как только мы обратимся к центральной власти, ваше ГПУ узнает об этом и расценит как жалобу.

Но все предосторожности, о которых мы упоминаем для полноты исторической картины, оказались ненужными.

В пятницу (т.е. через два дня после ареста) видный коммунист, принявший участие в судьбе Ребе, сказал его дочери:

– Молись, чтобы твой отец остался в живых...

А в субботу утром из Ленинграда передали: приговор вынесен – расстрел.

Теперь терять было нечего, и сразу привели в действие все, что обдумывалось и отвергалось в предыдущие два дня. Комитет немедленно обратился к представителям центральной власти. Слали телеграммы и шли на прием к всесоюзному «старосте» Калинину, главе советского правительства Рыкову, председателю всесоюзного ГПУ Менжинскому. В «еврейских» городах России – Харькове, Минске, Киеве и других был срочно организован сбор подписей под петицией к правительству СССР, где подчеркивалась лояльность Любавичского Ребе к советскому режиму и говорилось открыто: «преступления» Рабби Йосифа Ицхака Шнеерсона – явная ложь!» Петиция, под которой подписались тысячи евреев в разных городах страны, начиналась словами: «Освободите Ребе!»

Известие об аресте любавичского лидера глубоко потрясло религиозных евреев России, а их было в то время сотни и сотни тысяч. Раввины объявили пост в своих общинах, синагоги и молельные дома были переполнены, люди сквозя слезы произносили Теилим и молились за жизнь любимого всеми Ребе.

Как это ни удивительно, прокатившаяся по стране буря протестов подействовала. Председатель ГПУ Менжинский лично принял представителей Комитета и внимательно выслушал доводы о невиновности раввина Шнеерсона. Впрочем, может, на него подействовала и начавшаяся вдруг международная буря.

Весть об аресте лидера Любавичского движения мгновенно разнеслась по свободному миру. Стоит ли пояснять, что никому на Западе в голову не приходило сомневаться в невиновности Ребе. Мировая еврейская общественность восприняла его арест, как начало расправы с религиозным еврейством России. Из Америки, Германии, Англии, Франции, из Скандинавских и многих других стран и, конечно, из Эрец Исраэль к Ребе и его друзьям шел поток тревожных телеграмм и писем. Вначале, в дни чрезвычайной осторожности, когда решено было не давать никакого повода для обвинения в пропаганде против СССР, они оставались без ответа. Подобная осторожность, повторяем, отнюдь не была излишней: ГПУ расстреливало за любые попытки контрреволюционеров очернить действительность советского «рая».

Не получая никакой информации из России, руководители мирового еврейства на свой страх и риск развернули кампанию по спасению Ребе. Первыми и особенно активно начали действовать евреи Германии. Ортодоксальный раввин Берлина – Гильдсгаймер и реформистский раввин – Лиу Бак срочно обратились к влиятельному депутату Бундестага, социалисту и сионисту доктору Оскару Кагану. Депутат оказался человеком действия. Он молниеносно добился аудиенции у министра иностранных дел д-ра Штреземана, а затем вместе с министром и раввинами отправился к д-ру Вайсману – заместителю рейхс-канцлера Германии.

Не колебался и д-р Вайсман. В тот же день советский посол в Берлине – Крестинский (расстрелян во время троцкистско-бухаринских процессов) получил меморандум германского правительства с запросом по поводу ареста Любавичского Ребе. Заместитель рейхсканцлера просил Крестинского лично разобраться в этом прискорбном инциденте и оказать возможное содействие скорейшему освобождению лидера Любавичского движения. Советский по-

сланник ответил немедленно: «Я уверен, – писал Крестинский, – что Советское правительство не заинтересовано в лишении свободы раввина Шнеерсона. Рассцениваю эту историю как попытку одного из секторов партии – так называемой «еврейской секции»¹ – свести счеты с энергичным религиозным деятелем. И поскольку Советская власть не выигрывает, а проигрывает от расстрела религиозного лидера, я верю в возможность исправить сложившееся положение, для чего немедленно изложу обстоятельства упомянутого Вами дела своему Правительству. В свою очередь, обещаю использовать все имеющиеся в моем распоряжении средства, чтобы помочь освобождению раввина Шнеерсона...»

Следует отдать ему должное: Крестинский немедленно, по телефону, сообщил в Москву содержание меморандума правительства Германии...

А официальная Москва тем временем отбивала атаки еврейских делегаций. Из Харькова и Киева, Витебска и Минска, из десятков городов приезжали выборные еврейские представители и по договоренности с Комитетом спасения Ребе устремлялись в приемные высших советских учреждений. Им, как правило, отказывали во встрече, но им нельзя было отказать в настойчивости и упорстве. С их помощью в орбиту борьбы за свободу Ребе включились сотни людей, и даже видные коммунисты – евреи и неевреи – присоединились к кампании по освобождению еврейского лидера. Исключительно благородная роль в этой борьбе принадлежит Е.П.Пешковой, первой жене писателя М.Горького, возглавлявшей в те годы еще существовавший в СССР «Политический Красный Крест». Хорошо знакомая еще с дореволюционных времен со многими видными членами правительства, госпожа Пешкова обратилась к Рыкову и Калинину с личной просьбой об освобождении Любавичского Ребе.

А тем временем жизнь его по-прежнему висела на волоске. Председатель ленинградского ГПУ Мессинг, слышавший яростным антисемитом, в любую минуту мог отдать приказ о ликвидации ненавистного раввина. Он ничем не рисковал, в его руках было «судебное» постановление о высшей мере наказания, о чем уже знали все евреи страны: на тысячи телеграмм с требованиями и просьбами освободить Ребе, поступавших на имя всесоюзного старосты Калинина и председателя Совнаркома Рыкова, неизменно приходил стандартный ответ – «Раввин Шнеерсон арестован законно как злостный преступник, и приговор остается в силе».

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Тусклая лампочка, толстая обогревательная труба вдоль камеры, духота, железо и камень. Железные койки, железный, вбитый в стену, стол, железные решетки, цепи на окнах, за крошечным, в ладонь, окном мощные железные балки, чтобы ограничить обзор и контакт с соседними камерами, железные двери и каменные глухие стены. И невозможная теснота, когда любое движение беспокоит соседа. В камеру-одиночку, сконструированную заведомо без излишеств, втиснуты

¹ Подробно о евсекции см. «Послесловие» к настоящему изданию.

четверо. Большевики еще не построили новых тюрем в Ленинграде, а старинные, царской поры – не рассчитаны на массовые аресты лета 1927 года.

Трое старожилов камеры №160 встретили Ребе приветливо, в дальнейшем относились с уважением и помогали, чем могли. Мы не знаем, кто были эти люди, за что попали в тюрьму и какова их дальнейшая участь, но, судя по некоторым упоминаниям Ребе, они были смертники – как и он. Не случайно на просьбу одного из них «добавить кипяточку», надзиратель бросает: «Нечего тебе обжираться, все равно скоро расстреляют!»

Эти люди (двое евреи, третий русский) были смертельно запуганы, боялись охранников, как огня, о чем можно судить, например, по записанным Ребе колоритным воспоминаниям заключенного С. Но что в этом удивительного, если внезапно отворялся, например, волчок, и тюремщик каркал: «Сегодня ночью укокошили тридцать душ!» Правда или нет – проверить невозможно, но так похоже на правду, что несчастные холодеют.

На Ребе эти запугивания не действовали. В первое же утро он потребовал встречи с начальником отделения.

– В чем дело? – спросил спустя несколько часов начальник.

– Я хочу получить свои тфилин, – сказал Ребе. – А также прошу срочной медицинской помощи. У меня открытая рана.

Начальник посчитал, загибая пальцы, и констатировал, что раньше понедельника о врачах и думать нечего.

– А коль помрешь до той поры, – добавил он, – так и врачу заботы меньше.

– А тефиллин? – переспросил Ребе.

– Вышиби этот дурман из башки, – огрызнулся начальник. – Скорее сдохнешь, чем получишь...

– В таком случае, – сказал Ребе, – у меня не остается иного выхода, как объявить голодовку. И я ее объявляю. О чем и ставлю вас в известность. Мои сокамерники будут свидетелями: я не притронусь к еде и воде, пока мне не возвратят тфилин.

Начальник равнодушно пожал плечами. Но явно сообщил о голодовке следователям, потому что Ребе два дня не вызывали на допрос. Простой расчет: ослабевший от голода, болезни и боли в открытой ране, непокорный раввин станет покладистее. Но надежды следователей не оправдались. Первый допрос закончился безрезультатно, Ребе твердо стоял на своем.

– Пока не вернете тфилин, – повторял он в ответ на любые вопросы, – я не буду с вами разговаривать.

Присутствовавший на допросе Лулов бесновался и орал на Ребе. Этот развязный хулиган, типичный представитель молодцов евсекции, вел себя, разговаривая с Ребе, по-хамски. Вспльчивый, злой, да еще и заика, с явным комплексом неполноценности, Лулов с юных лет приболудился в ЧК, которая стала его кумиром. Чем он там занимался первые годы – трудно сказать, однако, можно догадываться, коли со временем он выбился в следователи. Лулов хорошо знал идиш и поэтому всякий раз участвовал в допросах арестованных евреев, но никакого еврейского образования не получил и был дремуче невежествен в во-

просах религии. Он, как мы знаем, происходил из семьи хасидов, но тем не менее всякий раз изумлял Ребе глупейшими вопросами и наскоками на хасидизм.

Вел он себя вызывающе, но совершенно по-мальчишески: «Видишь мою руку? – кричал на Ребе щупленький Лулов. – С четырнадцати лет она знает одну-единственную святую работу – отправлять на тот свет мракобесов! Таких, как ты! Всех прикончим, до единого...»

Не обращая на него внимания, Ребе опять и опять повторял свою просьбу.

– Тефиллин тебе нужны?! – заорал, наконец, Лулов. – Нету их уже. На помойку их выбросили...

Услышав слова о помойке, Ребе единственный раз не сдержался, стукнул кулаком по столу и бросил Лулову: «Подлец!»

«Когда меня вызвали на допрос, – вспоминает Ребе, – я заявил, что не буду отвечать ни на какие вопросы, пока не возвратят мне тфилин. И мне их возвратили, причем в необычное время, уже после отбоя, примерно в одиннадцать вечера. Это была большая победа, но я решил оставаться непреклонным до конца, хотя такое поведение стоило мне огромного физического напряжения.

– Учтите, я по-прежнему отказываюсь есть тюремную пищу, – заявил я чиновнику, принесшему мне тфилин, – а буду есть только то, что принесут мне из дома, хотя бы это был один сухой хлеб. И кипяток для питья буду брать при условии, если его вскипятят в специальном баке для воды.

Чиновник, а он был еврей, вскипел:

– Ты что, собираешься выдать свидетельство кошерности тюремной кухне?!

– Я не выдаю свидетельств о кошерности... А ваша обязанность – передать мое требование...

Когда меня привели на допрос, я сказал:

– Впервые вхожу в помещение, где собравшиеся даже не считают нужным привстать в знак уважения...

Кто-то из них спросил – знаю ли я, где нахожусь.

– Конечно, знаю, – ответил я. – В помещении, где по закону не следует устанавливать мезузу. Впрочем, есть и другие помещения подобного рода, например, конюшня или туалет.

Я разговаривал с ними исключительно на идиш, который понимали и переводили остальным арестовавшие меня еврейские молодчики. Особой наглостью выделялся Лулов: он лез из шкуры вон, пытаясь перещеголять других...»

На допросах Ребе постоянно присутствовали трое: начальник следственного отдела ленинградского ГПУ Дегтярев, какой-то русский следователь и заика-Лулов. Обвинения, предъявленные Ребе, были многочисленны и серьезные. Вот их перечень в той последовательности, в какой называл их Дегтярев:

– Ты обвиняешься в поддержке реакции в СССР;

– Ты обвиняешься в контрреволюции;

– Религиозные евреи СССР видят в тебе высший авторитет и находятся под твоим влиянием;

– Твое влияние распространяется и на часть еврейской интеллигенции Советского Союза;

– Ты пользуешься огромным влиянием среди американской буржуазии;
– Ты – лидер мракобесов;
– Нам известно, что, использовав свое зловерное влияние, ты организовал по всему Советскому Союзу сеть хедеров, ешив и прочих религиозных учреждений;

– Под твоим руководством ведется интенсивная переписка с заграницей. К тебе и твоим друзьям поступают тысячи писем из десятков стран мира;

– Под твоим руководством составляется тайная корреспонденция о происходящих в СССР событиях и поступает к нашим врагам через иностранные посольства;

– Из-за рубежа к тебе и твоим друзьям поступают огромные суммы денег, которые вы используете на поддержание и распространение религии в Советском Союзе, а также на борьбу против советского правительства...

В предъявленных обвинениях – обычных газетных клише той поры – для Ребе не было ничего неожиданного. Спокойно выслушав Дегтярева, он ответил:

– Не буду спорить, евреи действительно видят во мне авторитет, но я никогда не использовал его в антисоветских целях. Кроме того, не забывайте, это авторитет чисто нравственный, моральный. Я никого не принуждал и не принуждаю, никто из евреев не находится в какой-то зависимости от меня. По вашим представлениям, я властвую над людьми, но это и неверно, и невозможно. Власть и принуждение противоречат самой сути учения Хабад. Главенство у хасидов – означает духовное величие, означает первенство в стремлении достичь моральной Цельности, в стремлении усовершенствовать себя настолько, чтобы и другие следовали тем же путем. Нетрудно понять, что подобного авторитета нельзя добиться принуждением и силой власти хотя бы потому, что каждый хасид волен учиться либо не учиться у своего руководителя – Ребе.

Примерно так разяснял Ребе суть хасидизма. Русские следователи, не понимавшие ни слова на идиш, все время его останавливали и требовали точного перевода от Лулова – полного невежды в еврейской религии и нравственных устоях хасидизма.

... Колесо истории совершило очередной оборот. Сто тридцать лет назад Алтер Ребе – прапрапрадед рабби Йосифа Ицхака Шнеерсона – был взят в тюрьму и принужден разяснять суть хасидизма министрам царя Павла Первого. Восемьдесят семь лет назад Цемах-Цедек – прадед рабби Йосифа Ицхака Шнеерсона – был вынужден объяснять сущность хасидизма министрам царя Николая Первого. Сегодня их внуку приходится пояснять суть хасидизма следователям ГПУ. Единственная разница в том, что в старые времена чиновники царей были вполне лояльны к еврейской религии и расследовали исключительно соблюдение законов Российской империи. И заключенный в тюрьму Алтер Ребе, и просто вызванный в Петербург для допросов Цемах-Цедек – после долгих бесед были отпущены домой на свободу. Их не приговаривали за верность еврею к тюрьме, а тем более к расстрелу!..

В списке предъявленных Ребе обвинений было одно – совершенно анекдотическое. Выложив на стол пачку писем, Дегтярев сказал:

– Вот письма, которые раскрыли нам твой истинный облик. Они полны мистики, они необычны и весьма подозрительны... Какие у тебя контрреволюционные связи с профессором Барченко?

Ребе рассмеялся:

– Профессор Барченко давно изучает Каббалу. По его словам, он мечтает проникнуть в таинство маген-давида, потому что верит в его сверхъестественную силу. Профессор убежден, что разгадавший тайну шестиконечной звезды способен выстроить и разрушить бесконечное количество миров... Он пришел ко мне впервые три года назад, сразу после моего переезда в Ленинград, рассчитывая на мою эрудицию в области Каббалы, и просил открыть ему «тайну маген-давида». Я терпеливо объяснил профессору Барченко, что он в плену иллюзий. Хасидизму ничего неизвестно о каких-либо тайнах и магической силе маген-давида. В тот вечер, как мне показалось, профессор Барченко прислушался к моим объяснениям. Однако в дальнейшем он снова вернулся к этой навязчивой идее и продолжал засыпать меня письмами с прежней нелепой просьбой, на которые я вынужденно, из обычной человеческой вежливости, время от времени отвечал... Вот и вся «мистика» моей переписки с профессором Барченко¹²³.

На грозные обвинения в контрреволюции Ребе ответил следующим образом:

– Мне кажется, вы хотите создать новое дело Бейлиса?! Но едва ли вам это по силам. При Николае Втором ваши предшественники потерпели поражение, хотя им помогли фабриковать «кровавый навет» профессора и ученые. Так и козни, которые вы тут строите, обречены на провал. Я отлично знаю, что делаете вы и ваши друзья, когда хотите арестовать несчастного меламеда: подбрасываете ему контрабандный товар или бутылку запрещенной водки, потом арестовываете и ссылаете в далекий край. То же самое вы хотите проделать и со мной – запятнать меня, обвинить в преступлениях, которые от начала и до конца лживы. Но запомните – этому не бывать! Все, что я делал и о чем говорил, всегда было открытым для всех и каждого. Мои дела общеизвестны. Я не скрываю ни единого шага и не делаю ничего, противоречащего советскому закону.

– В советской конституции и кодексе законов нет запрета хедерам и ешивам. «Никогда СССР не выносил письменных постановлений о запрете религиозных

¹ История встреч и переписки Ребе с профессором Барченко описана в 1964 году на страницах журнала «Ди идише хейм» №4 (19). В библиографическо-исследовательском очерке «Ребе Менахем М. Шнеерсон - седьмой духовный руководитель Движения Хабад», автор очерка Н.Б. Еханан пересказывает со слов матери седьмого Ребе любопытный эпизод этих «мистических» переговоров. В 1924 году, по приезде в Ленинград, рабби Иосиф Ицхак Шнеерсон познакомился с профессором Барченко. Увлеченный мистикой профессор мечтал с помощью астрологии и каббалы проникнуть в тайну шестиконечной звезды, маген-давида. В конце их встречи, отчаявшись переубедить упрямого профессора, Ребе сказал: «Хорошо, тогда я приглашу моего министра просвещения!» – и вызвал своего будущего зятя. В ту пору рабби Менахем Мендел жил в Екатеринославле на Украине вместе со своим отцом – раввином города. Покойная Ребецен Хана Шнеерсон (скончалась в сентябре 1964 г. в Бруклине, Нью-Йорк) рассказывала автору очерка, как сын ее несколько раз выезжал в Ленинград, где провел в общей сложности около трех месяцев, работая над объемистым трудом, излагающим смысл маген-давида в свете талмудического учения и Каббалы, а также связь этого учения с астрологией и современной астрономией. С материнской любовью и благоговением Ребецен

² вспоминала

³ что письменный стол ее сына был завален рукописями с математическими выкладками, а готовый труд из-за множества расчетов и формул походил на математический трактат.

воспитательных учреждений», – заверил меня в свое время генеральный прокурор Советского Союза Крыленко. Так кого же мне, спрашивается, слушать – Крыленко или Лулова? Все мои выступления и поступки не противоречат букве закона СССР. Если слова мои о нашей обязанности учить Тору находят отклик, евреи сами создают ешивы и хедеры. Но все это полностью в рамках советского закона...

– В жизни своей не налагал я на людей дань и не занимался поборами. А если родственники наших евреев, живущие в Соединенных Штатах Америки, считают нужным помогать своим близким исключительно ради их детей – чтобы и дети евреев России имели возможность изучать Тору – в этом никак нельзя усмотреть вреда советскому государству. Наоборот, в государственную казну поступает иностранная валюта, в чем, мне кажется, вы весьма заинтересованы...

– Вы хотите доказать, что я враг евреев и враг Советского Союза. Но это неправда, я не враг страны. Хотя я и далек от ваших воззрений, но поддерживаю все ваши добрые начинания. Свидетельство тому – упомянутые вами письма о сельскохозяйственных еврейских поселениях.

– Три года назад я действительно написал письмо в Америку. И в этом письме, как вам хорошо известно, призвал еврейскую общественность Соединенных Штатов Америки поддержать евреев СССР в их благополучном переселении на новые места⁴. Но разве это не было и вашим проектом?..

– Да, – подтвердил Дегтярев, – нам известно твое письмо в Америку и твое положительное отношение к сельскохозяйственным поселениям. Мы это ценим...

В этом месте допрос перебил случайно зашедший в комнату Нахмансон. Увидев Ребе, он засмеялся.

– Как встречу его, – сказал Нахмансон коллегам, – не могу удержаться от смеха... Мои родители, видите ли, были хасиды и долгое время оставались бездетными. Лишь когда отец поехал к Любавичскому Ребе и получил от него благословение, Б-г вспомнил о моей матери, и она родила сына. Этот сын и стоит сейчас перед вами...

Следователи весело заржали.

Объективности ради, следует отметить, что, в отличие от Лулова, Нахмансон был человеком образованным и неплохо разбирался в еврейской религии. Неизвестно, почему Лулов, а не он, постоянно принимал участие в следствии. Возможно, ответ лежит в наблюдении Ребе: стоило Нахмансону на минуту забыть о своих обязанностях чекиста, как его обращение становилось вполне человеческим.

В ответ на шуточку Нахмансона, Ребе рассказал историю спора его прадеда Цемах-Цедека с ученым атеистом. Никакие аргументы не могли убедить безбожника. «Ты пересмотришь свои взгляды, сказал Цемах-Цедек, когда придет к тебе час мучений!» Так оно и произошло.

⁴ В середине 20-х годов на средства «Джойнт» в Крыму было основано несколько сельскохозяйственных еврейских поселений. (Согласно некоторым источникам, американские евреи пожертвовали на эти поселения около 16 миллионов долларов). Со своей стороны, Ребе помогал создавать в этих поселениях синагоги, хедеры, миквы и т.д.

Нахмансон выслушал нравоучение молча и ничего не ответил, а Лулов, мало что разобрав в услышанной притче, кроме одного – она осаживает его дружка, ставит на место, – немедленно начал орать:

– А ну, заткнись! – и не зная к чему придраться, потребовал: – Снимай немедленно свой талит-катан⁵! Слышишь, что тебе говорят?!.. Снимай немедленно!

– Вы можете снять его только силой, – ответил Ребе. – Но предупреждаю: если вы его действительно снимете, я перестану отвечать на ваши вопросы...

Заикаясь и брызгая слюной, мальчишка выкрикнул:

– Через двадцать четыре часа тебя расстреляют! На этом допрос оборвался, и Ребе увели обратно в камеру.

В КАМЕРЕ

За пребывание в Шпалерке – хвала Б-гу. Я подчеркиваю – хвала Б-гу. Да, страдания были ужасными, но я повторяю: слава Б-гу, что они имели место, и я прочувствовал их до последней косточки. Неверно говорят: «до кончиков волос» – волосы бесчувственны; именно каждая косточка выстрадала. То была ужасная боль: и от личных страданий, и при виде того, как убивают других.

Мне очень дорог тот период. Я сидел в темной камере, где день не отличался от ночи. И только по команде «подъем», которую отдавали в определенное время, можно было догадаться о наступлении времени утренней молитвы шахарит.

У заключенных нет часов, день их делится на периоды между командами. Наше утро начиналось в 6.30 от громкого крика «подъем!» При этом не встают, а вскакивают, потому что сразу же открывается глазок в дверях, и горе заключенному, если остался он на нарах или лежит на полу. Час спустя, в 7.30, щелкает один из замков на окошке двери в тюремную камеру. Это сигнал «приготовиться к получению хлеба!» Сокамерники выстраиваются у входа и ждут, когда скрипнет второй замок.

Открывшееся окошко – большое событие в жизни арестанта. Не потому, что дают ему хлеб – мы не голодали, ниже я подробнее расскажу о питании в тюрьме в ту пору. Через окошко заключенный видит, пусть неприятное и недоброе, однако, новое живое лицо. И в этом крохотном разнообразии уже огромная радость. Ну, а если повезет, если надзиратель случайно отодвинется в сторону, и за его плечом покажется кусочек внешней крепости, либо коснется лица легкое дуновение ветерка с воли – это радость двойная.

Проходит еще час, и в 8.30 выкликают: «Приготовиться к приему кипятка!» Эту команду мы слышим дважды (второй раз – между шестью и семью часами вечера) и всякий раз ждем ее с нетерпением и страхом. Нетерпение понятно – только что съеден всухомятку кусок черного хлеба, а страх... «Казенное» имущество каждого – деревянная ложка, алюминиевая тарелка и большой алюминиевый кувшин с толстой ручкой, которая спасает от ожога, когда наливают в

⁵Четырехугольная накидка с кистями цицит на углах, носимая под рубашкой или поверх нее.

кувшин крутой кипяток. Но садизм – вторая натура наших двуногих мучителей. Показать свою власть, унизив человека, причинив ему боль, например, ошпарив ему руки, – любимое развлечение надзирателей, разрядка их примитивно-садистских инстинктов. Вдруг, безо всякого объяснения, они запрещают держать кувшин за ручку, и заключенные кричат от боли, но терпят. Иначе вообще не получишь воды, а она так хороша – приятно-обжигаящая, чуть сладковатая... Ее дают только в собственные руки. И, когда после трехдневной голодовки я отказался подняться с нар, тюремщики спокойно оставили меня без воды.

В час дня и пять вечера заключенных кормят, о чем ниже; в остальное время они предоставлены сами себе. Могут обмениваться воспоминаниями, думать свои думы или читать. Каждые две недели арестантам выдают по две-три книги. Как правило, все это литература коммунистического толка, но отказываться нельзя и просить на выбор тоже нельзя, вернее сказать, бесполезно.

Делать какие-либо записи для себя запрещается строжайше. Но существует ежедневный, официально дозволенный письменный час, когда выдают клочок бумаги и ручку для «высочайших», так сказать, прошений: начальнику отделения, следователю, защитнику или врачу. Раз в две недели можно написать короткое письмо родным и в тот же день получить от них весточку. Вся эта переписка, естественно, совершенно открытая, более того, заключенных строго-настроено предупреждают, о чем можно и о чем нельзя писать. По правде сказать, единственная дозволенная тема – здоровье узника, но упаси Б-г пожаловаться на медицинское обслуживание. Обучить цензурным правилам арестантов труда не составляет, иное дело их родственники: нет-нет, да и прибавят лишние «неположенные» слова. В этом случае цензура не мучается головной болью, ничего не вычеркивает, а просто-напросто конфискует подозрительное письмо.

И, наконец, раз в неделю, по средам, пишут деловые записочки близким. В этот день заключенный отправляет домой нижнее белье для стирки и пустую посуду, в которой получил предыдущую продуктовую передачу. К такой посылке положен список-перечень посылаемого, с приложением лаконичной просьбы: нужно то-то и то-то из еды и одежды. От щедрот администрация позволяет добавить – здоров или болен, предпочтительнее, конечно, здоров, потому что больных в тюрьме не жалуют, а к здоровью заключенных относятся безразлично.

Формально заключенным обеспечена постоянная медицинская помощь. В тюрьме есть врач, и единожды в месяц, по расписанию, ведут к нему на осмотр. Но если арестанту нездоровится, то как бы он ни занемог, немедленной помощи все равно не окажут. Заболевший обязан подать прошение на имя начальника отделения, тот перешлет его в центральную контору, там рассмотрят и учтут в порядке неторопливой очередности... Короче, обычная бюрократическая канитель, которая быстрее, чем в три дня, не раскручивается. И бывает, к врачу уводят выздоровевшего, либо врач приходит в камеру, когда уже не в силах помочь...

Засыпает тюрьма в 10.30 вечера. «Ложись спать! – идет вдоль камер надзиратель. – Отбой!» Тут уж мешкать никак нельзя, по вечерам тюремщики злее всего и за минутное промедление готовы отправить в карцер. Надо сказать, что ночной дежурный – полный хозяин над заключенными и волен по своему

усмотрению вершить самосуд немедленно, без санкций начальника отделения. Может и эта малая власть их пьянит, но расправа за малейшее неповиновение или нерасторопность следует незамедлительно. Самое легкое из таких наказаний – карцер, ночь в темном, сыром подвале с затхлым воздухом, в компании крыс и кишаших под ногами червей.

По мнению тюремщиков, карцер – наказание незначительное, безобидное, эдакий тонкий намек воспитательного характера, вроде легкого шлепка, которым взрослый награждает ребенка. Но я приведу здесь рассказ своего соседа по камере, которому (и соседу, и рассказу) у меня нет оснований не доверять.

Этот человек прост, несколько наивен и совершенно не способен на выдумку – да у него и не хватит на это ума. О своей жизни он рассказывает абсолютно правдиво, без малейшего желания приукрасить или преувеличить. Так же бесыскусно повествует он о событиях своего первого тюремного дня:

– Привели меня сюда, – говорит С., – в камере ни души, один я, одиночка, а правил тюрьмы не знаю. Ну, спать велят, а какой тут сон, раз в тюрьму попал, спать не хочется. Сел на койку и закурил. Дежурный в окошко глянул и говорит так зло – ложись! Ну, я его, как принято, по-матерному... Докурить не успел, дверь открывается, заходит надзиратель, давай, говорит, за мной. Поднялся. По каким-то лестницам пошли, потом, гляжу, подвал. Он одну дверь отпирает, заходи, говорит. Думаю, он за мной, а дверца – хлоп – и темно, хоть глаза выколи. Ступил я шаг и чуть не упал – ну, чисто в коровнике, трясина под ногами до щиколотки. Воздух душный, вонища. Зажег спичку, смотрю – батюшки мои, погреб, ну, аршин¹, может, на пять. Стены сырые, течет, а под ногами черви – длинные, мерзость такая, белые и черные. Спичка погасла, ну, думаю, с места не стронусь, как встал, так хоть всю ночь простою. Да не тут-то было. Крысы там здоровенные, по ногам шастают, а стукнешь – визжат, кидаются. Ну, просто страх Г-сподний, я и давай руками, ногами махать. Верить ли, может и часа не прошло, а замучатся, кажется ночь на исходе...

– А пожрать не давали? – поинтересовался К.

– Не-е... Да и какое... там жрать не хочется. И курить не хочется. Ничего не хочется... Вдруг, слышу, дверь отпирают. Все, думаю, конец, отсюда на расстрел. Кричит: «Выходи!» А куда выходить-то, кругом темень темная. «Ничего не вижу», – говорю. Тогда он свет зажег. Осмотрелся хорошенько, поверишь, еще страшнее стало. Это ж не погреб даже – яма зловонная, хотя и койку железную теперь углядел, ну, такую, как здесь...

– Давай, чего встал?! – начальник гавкает; тут уж я ждать себя на заставил. Вышел, стою и дрожу. «Ступай на лестницу», – говорит. «Слава Тебе, Г-споди, думаю, кажись не на расстрел».

– Ну, – говорит он мне, – успокоился? Будешь теперь знать, как с начальством здороваются?

Я молчу, головой киваю.

¹ Аршин – старинная русская мера длины, равная 0.71 метра.

– Ты, – говорит, – теперь заключенный, я – твой начальник, а начальство нельзя материть. Понял?!.. Ну, иди спать. Будешь спать?

– Буду, – отвечаю, – обязательно, ваше благородие, буду.

Тюх да тюх, как он врещет мне с двух рук по физиономии. Тут я совсем обалдел, почему, за что – не знаю.

– Какое я тебе благородие, – орет. – Мерзавец ты, белый слуга, шпион... Да я тебя на трое суток сюда заколочу, если трех часов не достало.

– Батюшка ты мой, голубчик, – я уж и знать не знаю, что тут говорить положено, только причитаю, – миленький ты мой, господин начальник, век тебя слушать буду...

Как он мне трижды по физиономии-то – тюх! Больно – страсть, зубы языком щупаю – шатаются, из носа кровь течет. А все ж стою, держусь, как перед начальником стоять положено. Я человек бывалый, дисциплину солдатскую знаю. Четыре года государю послужил. И на японской был, и генералов видел. Порядок есть порядок, дисциплина – дело нешутейное, ты хоть сдохни, а солдатом верным оставайся. Так нас в старое время учили, не то, что мальчишек нынешних, которые только водку пить горазды, да языком болтать направо и налево, а толку в них никакого.

– Какой я тебе господин?!.. «Товарищ» нужно говорить, теперь господ нет – все товарищи.

– Хорошо, – отвечаю, – товарищ. Больше не буду. Тут он меня опять два раза двинул. Спасибо, не в лицо, а в грудь.

– Какой я тебе товарищ! Нельзя так начальника называть. Не забывай: ты – заключенный, я – твой начальник. Так и говори впредь – «товарищ начальник»...

Как повел он меня обратно, тут я маленько и ожил: снова спать хочется и курить хочется, только губы разбитые болят, и нос, и зубы. Иду и про себя повторяю: «Товарищ начальник, товарищ начальник». Боюсь – не забыть бы, а то плохо будет... Ах, как приятно было в камеру вернуться, да на свою коечку лечь!..

Больше всего угнетает заключенного однообразие быта, отчего становится событием и открывшееся окошко в двери, и баня, разрешаемая раз в две недели, но обязательная один раз в месяц, и даже стрижка и бритье, о которых нужно письменно просить за неделю. Единственные регулярные радости узника – это еда и прогулка. Радости, перемешанные с унижением и горем.

Нас кормили плохо, но сытно, никто не голодал. По утрам вручали килограммовую порцию хлеба, вполне достаточную на весь день. Неподвижный образ жизни не способствует аппетиту, и у большинства заключенных к вечеру остаются не съеденными куски хлеба. В час дня выдают однообразный обед, что не мешает арестантам оживленно обсуждать ничтожные перемены в меню. Здесь возникают горячие споры, посвященные тюремным и былым обедам, настолько же пустые, насколько страстные. В пять часов дня аналогичное оживление сопровождает раздачу безвкусной каши.

Дважды в месяц – по первым и пятнадцатым числам – всем заключенным выдают типографски отпечатанные листочки. Это бланки для заказа товаров и продуктов из кооператива Шпалерки. Выбор крайне беден, а заказ – и доступен не

каждому, и бюрократически долог. Во-первых, нужны деньги, которые есть не у каждого. Необходимо также подать за две недели детальный перечень просимого с приложением расписки об оплате заказа из денег, хранящихся в центральной тюремной конторе. А в конечном счете можно ничего не получить, если следователи ГПУ или кто-то из тюремного начальства не утвердит твою просьбу.

Однообразие тюремной недели нарушалось лишь по пятницам, когда заключенным вручали передачу из дома. Такие посылки, естественно, не попадают от родных сразу в руки арестанта; они проходят по долгой бюрократической цепи, в конце которой кладовая тюремного отделения. Первый раз передачу исследуют в главной конторе, но особо тщательно контролируют на глазах заключенного.

Оставшиеся на воле, готовые на все ради близкого, не имеют, тем не менее, права посылать ему деликатесы. Не положено – и точка. Но даже и стандартная еда проходит разрушительную проверку. Содержимое посылки распечатывают и расчлениают на мельчайшие доли, в том числе и хлеб, который режут тонкими ломтями. Все это меры предосторожности против передачи нелегальных писем. (Не менее тщательно обыскивают и одежду, где прощупывают, а порой и распарывают любой подозрительный шов.)

Но никакие разрушения не способны омрачить светлую пятницу – день получения весточки из дома. Все, у кого есть семья или родственники, с утра в нетерпении и возбужденно ждут вызова к начальнику отделения, что само по себе дополнительное удовольствие. Хоть на короткое время покидает человек опостылевшую камеру. И другая мимолетная радость его поджидает: он увидит своими глазами почерк любимого или любимой. Сам перечень присланных вещей остается у тюремщиков, но даже беглый взгляд, брошенный на записку дорогой ему руки, поднимает настроение.

Люди опытные заполняют этот список на клочке ткани, вшивая его потом в наволочку или мешковину – упаковку посылки. Или еще проще – пишут чернилами прямо по материи упаковки. В этом случае на руках счастливец остается подлинник письма!..

Возбужденно-радостный возвращается он в камеру и раскладывает передачу на самом почетном месте. Оно у него единственное, используемое практически двадцать четыре часа напролет – это кровать, где он спит, и лежит, и сидит, где смеется и плачет, читает и мечтает, разминает затекшие мышцы и даже дремлет в часы, когда спать категорически нельзя. Благоговейно и бережно извлекает он содержимое пакета и расставляет на специально расчищенном местечке. А затем с вниманием, непостижимым для не побывавших в тюрьме, рассматривает и обдумывает каждый штришок.

Медленно и сосредоточенно читает он текст записки, скрупулезно исследуя букву за буквой в поисках возможного тайного смысла. И буква пропущенная или лишняя буква – становятся пищей для долгих раздумий. Вдруг не ошибка за этим, а некий шифр, несущий важное сообщение. Даже буква, выведенная чуть-чуть крупнее, могла быть написана так не случайно, а с определенной целью.

Часами рассматривает несчастный незамысловатый текст, отыскивая тайнопись в движении руки и почерке. Почему, например, из двух одинаковых букв,

стоящих практически рядом, одна заострена, а другая округла? Или почему какое-то слово внезапно выписано жирнее других?.. Что за этим кроется: только что окунули перо в чернильницу или – рассматривает он записку под разными углами – вписано другой рукой? Нет, на другую руку не похоже, но слово-то выделено, значит, возможен какой-то намек. Но какой? Наконец, с изучением записки покончено. Теперь очередь самой упаковки. И опять начинаются мучительные загадки: почему на прошлой неделе он получил передачу в коробке из-под сладостей, а на этот раз – в мешочке из-под муки? Не сигнал ли это, что против него выдвинуто новое обвинение – в спекуляции мукой?..

После получения посылок воцаряется глубокая тишина – на несколько часов, порой на весь день. Каждый уходит в себя: он перебирает, тщательно изучая, содержимое передачи и гадает, гадает, гадает... Взвешивая «за» и «против», мысленно строит новые теории, связанные с новыми ловушками следствия. И, соответственно им, готовится к предполагаемой защите, к опровержению обвинений в спекуляции мукой, которой ни он сам, ни его предки никогда не торговали...

Последнее, о чем хочу упомянуть, – прогулка. Надо видеть, как привскакивают арестанты при выкрике надзирателя: «Камера такая-то, приготовиться к прогулке!» – чтобы понять всю остроту их тоски по действию, движению. Время прогулки не регламентировано, ее могут назначить когда угодно – от подъема до семи вечера, но она бывает обязательно. Тюремный, неукоснительно соблюдаемый порядок гарантирует арестанту пятнадцать минут на свежем воздухе.

Эти короткие четверть часа – очень дороги заключенным, и они, как дети, заранее предвкушают удовольствие. Ведь прогулка – не только возможность выйти из камеры, вдохнуть полной грудью вольный воздух, увидеть небо, размять застоявшиеся ноги на железных лестницах и примерно пятидесятиметровой в длину площадке. Прогулка несет в себе более возвышенный смысл – она выход в люди, возможность новых человеческих контактов. Произвольное время прогулки перемешивает камеры и отделения тюрьмы. А в Шпалерке сидят тысячи людей: ученые и врачи, инженеры и юристы, журналисты и адвокаты, купцы и служители культа различных вероисповеданий, старики и юнцы, короче, представители всех слоев и профессий. Вот почему для большинства – это еще и надежда повстречать арестованного по его делу и переговорить с ним знаками, несмотря на тщательную охрану вокруг². Или просто увидеть знакомого...

Неизбежные впечатления или случайные события во время прогулки становятся позже обильной пищей для размышлений, воспоминаний, ассоциаций...

² Среди записей Ребе сохранились также и некоторые правила поведения заключенных во время прогулки. В центре прогулочной площадки, записывает Ребе, установлена сторожевая будка выше человеческого роста, откуда часовые следят за соблюдением порядка. Заключенные обязаны: 1) передвигаться только в означенном месте, вокруг сторожевой вышки; 2) сидящие в одной камере должны идти рядом; 3) следует идти, не останавливаясь и не приседая. Кроме обязанностей, существуют и запреты: 1) запрещается бежать, можно только ходить спокойным шагом; 2) нельзя разговаривать, разве что шепотом; 3) нельзя ходить выпрямившись, чтобы не всматриваться в лица других заключенных; 4) нельзя смотреть в направлении окон крепости; 5) запрещается поднимать что-либо с земли; 6) нельзя бросать что-либо на землю; 7) нельзя подавать знаки глазами; 8) нельзя совершать подозрительные движения рукой или ногой; 9) нельзя разговаривать с конвоиром; 10) нельзя передавать или брать папиросу...

Зачастую такие встречи приводят несчастных в угнетенное состояние духа, и они возвращаются в камеру подавленные и угрюмые, порой наоборот – поднимают их дух, но все равно, они ежедневно готовятся к предстоящему удовольствию, и каждая минута ожидания, после команды «на прогулку!», кажется им вечностью.

Прогулку предваряет особая процедура. Сначала открывается глазок, и дежурный проверяет готовность заключенных. Затем, какое-то время спустя, щелкают замки, и в дверях появляется начальник конвоя с вооруженной охраной за спиной.

Начальник – здоровенный детина, косая сажень в плечах, черный, как смоль. Его сходство с дьяволом усиливают черно-красная тюремная форма, рыкающий голос, полные злости глаза и клокочущая, звериная ненависть к несчастным узникам. Дайте мне волю, говорит его вид, и я своими руками передавлю этих комаришек!

Осмотрев начальственно помещение камеры, он прислоняется к косяку и рычит: «Давай, блохи, пошли в земле копошиться!.. Выходи гулять!» И заключенные – жалкие, съжившиеся от страха – прошмыгивают мимо. (Слова о «блохах» – постоянное его напущение – так красноречивы!)

Саму прогулку не описываю, поскольку ни разу не воспользовался этим любимым развлечением арестантов. Могу лишь засвидетельствовать ее финал: в затылок друг другу, сгорбившиеся, подобные покорным ягнятам, заходят они в камеру. Какое безысходное зрелище!

ЗВЕРЬ РАЗЖИМАЕТ ЧЕЛЮСТИ

Ровно неделю спустя после ареста Ребе, в комнате, где поздно вечером заседал Комитет, раздался телефонный звонок. Поднявший трубку услышал торжествующий и взволнованный голос госпожи Пешковой: «Слава Б-гу, расстрел отменили!» «Ребе освобождают?!» – закричал обрадованный член Комитета. «К сожалению, нет, – ответила госпожа Пешкова, – расстрел заменили десятью годами ссылки на Соловецкие острова».

Радостную весть об отмене смертного приговора восприняли с ликованием, как милость Б-га. Но вместе с тем, было очевидно – сделан лишь первый шаг, поскольку ссылка в Соловки заменяла расстрел на медленную и мучительную смерть. Нужно было действовать, ни на минуту не ослабляя усилий. Наскоро посоветовавшись, снова отправились к Екатерине Павловне Пешковой. Только она могла добиться повторной встречи с Менжинским, и только Менжинский мог своей властью отменить тяжелый приговор. А если вдруг Менжинский откажет, говорили члены Комитета, умоляйте его хотя бы отложить высылку до полного выздоровления Ребе. Но если и это невозможно, тогда просите о последней милости – пусть больному позволят следовать в ссылку обычным поездом, а не арестантским этапом.

Госпожа Пешкова немедленно, через приемную Менжинского, попросила о свидании с председателем ГПУ. Более того, она снова использовала свое знаком-

ство с виднейшими членами советского правительства и продолжала добиваться максимума уступок – вплоть до самого освобождения Ребе.

Неожиданное помилование – замена расстрела – поступившее из Москвы от грозного руководства центральным ГПУ, вызвало в ленинградском его филиале некоторую растерянность. Ни председатель Мессинг, ни тем более подчиненные ему следователи, вроде Дегтярева или Лулова, не могли догадаться, какие силы вмешались в судьбу осужденного на смерть раввина. По опыту своей работы, они прекрасно знали, что просто так, ни с того, ни с сего, советская власть не щадит приговоренных к расстрелу. Значит кто-то за этим стоит – очень сильный или очень влиятельный. Следовательно, в обращении с Ребе нужна некоторая осторожность.

Нет, его не перевели из камеры смертников и даже не поторопились известить о замене приговора. Однако требования Ребе, немислимые в условиях советской тюрьмы, были внезапно удовлетворены и более того – он получил льготы, о которых даже не просил.

Ребе отказывался пить тюремный «чай» и просил кипятить ему воду в отдельном баке. Неожиданно это было разрешено. Еще более неожиданно он получил прямо в камеру присланные из дома три халы для субботы. Как известно, любые хлебные изделия неукоснительно нарезаются проверяющими в тюрьме на мелкие кусочки. Ребе получил свои халы нетронутыми.

Проявляя неожиданную «гуманность», начальник отделения – «в виду болезни» – избавил Ребе от обязанности каждого арестанта поочередно драить полы в камере. (Что, впрочем, не помешало тюремному врачу признать Ребе вполне здоровым... Когда после долгих и упорных ходатайств Ребе добился, наконец, врачебного обследования, врач просто закрыл глаза на кровоточащую рану и хроническую тяжелую болезнь пациента. Вполне возможно, однако, он это сделал не по своей злой воле, а под диктовку сверху: признать заключенного серьезно больным – означало перевести его в тюремную больницу, что не входило в планы Мессинга и присных. Они еще не закончили сводить счеты с Ребе и, как мы увидим в дальнейшем, мечтали добиться от него некоторой важной уступки).

Ребе получил обратно все свои книги, и одна из них – Мишна¹ – косвенно «сообщила» ему об аресте Хаима Либермана. У Ребе и его личного секретаря были одинаковые книги Мишны, одного и того же года издания. За несколько недель до ареста Ребе понадобилась эта книга, и, не обнаружив под рукой свой собственный экземпляр, он взял Мишну, принадлежащую Либерману. Просмотрев нужную страницу, Ребе на всякий случай сделал закладку и вернул книгу владельцу. Теперь, получив из тюремной канцелярии книги, он сразу же обратил внимание на знакомую закладку. Это был тяжелый удар для Ребе, возлагавшего, как мы знаем, на Хаима Либермана большие надежды. Но сомнениям не было места: ясно, что Либерман арестован, точно так же взял в тюрьму свои книги и тоже был «освобожден от принадлежностей культа». А возвращая Мишну, безразличные чекисты по ошибке перепутали экземпляры...

¹ Инициальная часть Талмуда.

По специальному указанию начальника тюрьмы Ребе получил неслыханную привилегию. Как рассказывает в своих воспоминаниях Ребе, тюремный регламент категорически, под страхом сурового наказания, запрещает бодрствовать после отбоя. Ребе получил такое право, и теперь он каждую ночь допоздна сидит за железным столом, читая книги и делая карандашные пометки. Впрочем, пометки – это для надзирателя. На самом деле Ребе использует взятые в камеру папиросы и на развернутых гильзах записывает свои впечатления и мысли. Вот одна из таких записей после допроса, на котором Лулов по-прежнему взваливает на Ребе несусветные обвинения: «Лулов, – сказал я ему, – опомнись! Ты обвиняешь религиозных евреев в намерении свергнуть советскую власть. Но тем самым ты разжигаешь в русских ненависть к евреям, ты источник антисемитизма, Лулов!» Он помрачнел и ничего не ответил».

Ничего удивительного, что и низшие тюремные чины – надзиратели, наблюдая послабления большого начальства, начинают либеральничать с привилегированным заключенным. Как уже было сказано, в камере нет часов и невозможно понять, когда наступает время вечерней молитвы (в белые ленинградские ночи крошечное тюремное окно не помогало, скорее сбивало с толку). И дежурные, стукнув в дверь, извещают теперь Ребе о часе молитвы.

Ему приносят из дома субботнюю одежду и, переодевшись в нее, в приподнятом настроении, молится он естественно и свободно, сопровождая молитву хабдской мелодией. Тюремные своды уже не тяготят.

Странная и, быть может, уникальная в истории Шпалерки сцена: мелодия далеко разносится в тюремной тишине, но надзиратели не ропщут, не бросаются с кулаками, а безмолвно слушают громкую молитву таинственного и гордого еврея – вчерашнего смертника и непокорного заключенного, который ведет себя, как победитель...

Но следовательские кулаки еще не спрятаны в карман. Поблажки поблажками, однако, следователи не отказались от попытки сломить упрямец, сделать его своим послушным орудием. Вот как описывает Ребе день, принесший ему весть о помиловании:

«Их было несколько человек, они пришли утром, после молитвы, то есть в одиннадцатом часу. Кто-то из них приказал мне подняться и напомнил тюремное правило: заключенный обязан встать при появлении в камере тюремного начальства и стоя слушать любое сообщение. Но я твердо решил ни в чем не повиноваться этим слугам дьявола и не обращать на них внимания, как если бы их вообще не существовало.

– Не встану, – сказал я, как обычно, на идиш.

Он предупредил, что меня избьют. Тогда я вообще замолчал. Они стащили меня с нар, избили и ушли.

Некоторое время спустя появился необычайно вежливый Лулов.

– Ребе, – начал уговаривать он меня, – почему вы не подчиняетесь приказам... Ведь вам хотели объявить о смягчении приговора, а вы упрямитесь попустому. Встаньте, когда они войдут, по-хорошему прошу, ведь вас снова будут бить, сурово накажут...

Это был намек на карцер, на подвал, где крысы, болото и черви. Я ничего не ответил.

Они вернулись, но я опять отказался стоять перед ними. Тогда один из следователей, еврей, по фамилии Ковалев, внезапно ударил меня ниже подбородка с такой силой, что я чувствовал боль от удара еще долгое время спустя. Выходя из камеры, он прошипел по-русски:

– Мы тебя еще научим!

Не сдержавшись, я ответил на идиш:

– Не знаю, кто кого...

Немного погодя меня отвели в главную тюремную канцелярию, где в толпе заключенных я столкнулся со своим секретарем. Увидев меня, Хаим Либерман вскрикнул: «Вы еще живы?!» – и потерял сознание.

Всю группу заключенных выстроили в шеренгу.

– Зачем вы нас выстраиваете? – спросил кто-то.

– Хотим пристрелить на месте, – ответил конвойный. Услышав это, молодой человек (еврей из Витебска) упал без сознания и, не приходя в себя, скончался. Подошел охранник, толкнул ногой несчастного, послушал сердце.

– Помер, – сказал тюремный «эксперт». Они зачеркнули по книгам выбывший ярлык и, посмеиваясь, сделали издевательскую пометку: «вышел в расход добровольно». Скончавшегося укрыли одеялом и унесли.

Наконец, меня подозвали к столу. Среди вороха бумаг вижу свое «дело». Папка раскрыта, на первой странице несколько зачеркнутых резолюций и – заключительная. Первая строка перечеркнута. Следующая строка: «Десять лет каторги на Соловецких островах» – тоже зачеркнута, а сбоку: «Нет». Читаю последнюю резолюцию: «Выслать на три года в г. Кострому».

ТОЛЬКО НЕ В СУББОТУ!

Ребе узнал о замене приговора на ссылку в Кострому, вероятно, раньше, чем об этом прослышали на воле. Было объявлено, что в среду, 29-го июня (ровно через две недели после ареста) Любавичского Ребе вышлют в Соловки. На Шпалерной улице собирается множество хасидов, здесь и семья Ребе, они с надеждой смотрят на ворота – вдруг посчастливится хотя бы обменяться взглядом...

Ждут час, другой, часть провожающих уходит на вокзал, они окружают арестантский вагон, но Ребе нет и здесь. Привозят последнюю партию арестантов, поезд трогается...

Взволнованные евреи не знают, что и думать. Но в этот день в Москве состоялась вторая встреча Е.П.Пешковой с Менжинским, и Менжинский сразу же отправил в ленинградское ГПУ приказ – задержать высылку Любавичского Ребе. Распоряжение пришло буквально перед самой отправкой... Когда делегация московского Комитета приходит в Политический Красный Крест, госпожа Пешкова встречает их потрясающей вестью.

– Любавичскому Ребе Соловки не угрожают, – говорит она радостно. – Ни сегодня, ни завтра – никогда! Его ссылают в Кострому.

Впервые произнесено слово Кострома, и у делегатов отлегло от сердца. Наконец-то жизнь Ребе реально спасена, осталось добиться свободы...

А в Шпалерной тюрьме заика-Лулов, еще не понявший своего поражения, продолжает наскоки на Ребе. У него уже нет времени, и он выкладывает начистоту то главное, из-за чего собирались убить или, хотя бы, сломить Ребе. Теперь Лулов пытается его подкупить.

– Кострома – это тоже ссылка, – говорит он вкрадчиво, – и тяжелая ссылка. Вы испытаете там много мучений. Но их можно избежать, если вы согласитесь участвовать в конференции еврейских общин, которую раньше пытались сорвать. Подумайте!.. Если вы публично заявите об отказе от прежнего мнения, мы вас тут же выпустим на свободу...

– Нам не о чем разговаривать, – категорически ответил Ребе. – Никакие угрозы на мою точку зрения повлиять не могут, и вы это отлично знаете...

Сколько ни упорствовал Лулов, перемежая угрозы посулами, Ребе твердо стоял на своем: «Никогда и никакой поддержки конференции, направленной против идишкайт!» К концу их беседы Лулов совершенно потерял лицо. Действительно, в глупейшее положение попал невезучий следователь. Ему приказано во что бы то ни стало добиться от Ребе участия в конференции или, хотя бы, одобрения ее, но как заставишь непокорного, который ничего не боится. Лулов и убить готов, но сдерживает совершенно недвусмысленный приказ Москвы: выслать на три года в ссылку.

В бессильной ярости отправляется Лулов к председателю ленинградского ГПУ Мессингу, но и шеф ничем не может помочь. В их распоряжении всего лишь возможность последней мести – мелкой и пакостной, как и сами эти людишки. Зная религиозные убеждения Ребе, они подгадывают отправку в Кострому на субботу...

– Мне предложили на шесть часов уйти домой, – вспоминает Ребе, – а в полночь сесть на костромской поезд. Дело было в четверг, и я спросил на всякий случай – когда приходит поезд в Кострому?

– В субботу.

– В субботу не поеду ни в коем случае!..

В этот день у меня было свидание с зятем – раввином Шмарьяху Гуарье и внуком Шалом-Бером.

– Обязательно постарайтесь, – сказал я зятю через решетку, – чтобы меня освободили от поездки в субботу.

И новые хлопоты – перенести отъезд с четверга на воскресенье. Эти хлопоты особенно трудны, потому что не объяснишь далеким от религии людям, как важно еврею не передвигаться в субботу. В Ленинграде эти попытки не увенчались успехом. Ответственный за высылку Лулов не хотел отказываться от последней возможности мщения. К счастью, все понимающая Екатерина Павловна Пешкова срочно встречается с главой правительства Рыковым и подробно рассказывает ему суть происходящего. Рыков тут же снимает телефонную трубку и

просит Менжинского отложить отправку Любавичского Ребе до конца субботы. А большой Менжинский, которому эта история, должно быть, порядком надое-ла, соответствующе разговаривает с ленинградским ГПУ.

Следующая встреча. Лулов приходит к Ребе в камеру для последнего жалкого шантажа.

– Если согласитесь поехать в субботу, – говорит он, размахивая в воздухе какой-то бумажкой, – вот вам пропуск, и вас сейчас же отпустят домой!

– Я буду сидеть здесь сколько угодно, – отвечает Ребе, – но в субботу не по-еду!..

«Благодарение Б-гу, – вспоминает позднее Ребе, – за то, что Он избавил меня от поездки в субботу, и я провел ее в тюрьме. В воскресенье, в полдень, меня отпустили на несколько часов домой, а вечером того же дня я уехал. Хочу отметить, что в последние дни, с четверга по воскресенье, хотя в тюремном рас-порядке ничего не изменилось, я чувствовал себя совершенно свободным... Опередив меня на несколько дней, в Кострому уехал реб Михоэл Дворкин и за короткое время, переговорив с родителями мальчиков, открыл хедер, а также успел отремонтировать городскую микву. Самоотверженность евреев России невозможно переоценить!»

35 лет спустя, в день праздника Освобождения рабби Иосифа Ицхака Шнеерсона, его преемник – рабби Менахем Мендел Шнеерсон сказал: «Арестован-ный и приговоренный к расстрелу за распространение и укрепление еврейства, Ребе возобновил ту же самую деятельность, едва переступив ворота Шпалерки: прежде чем прибыл он в Кострому, его посланец уже организовал там Хедер».

Короткие часы, проведенные дома, не были поблажкой. Это всего лишь ка-зенное время, отпущенное арестанту или, вернее, ссыльному на сборы, о чем строго-настрого предупреждают в тюрьме.

«Перед самым выходом из Шпалерки, – пишет Ребе, – у меня состоялся по-следний разговор с тюремным чиновником. Вот список полученных мною пред-писаний:

1. Мне дозволено вернуться на шесть часов домой, а к 20.00 следует явиться на вокзал и выехать к месту ссылки в г. Кострому по железной дороге;

2. В случае опоздания на поезд, я обязан вернуться в тюрьму, иначе меня арестуют и приведут насильно;

3. В Кострому я должен следовать без задержек в пути и прибыть туда наза-втра, в понедельник вечером;

4. Во вторник утром я обязан явиться в городской отдел ГПУ, в чьем ведении буду находиться в течение трех лет – до 15-го июня 1930 года;

Все эти предупреждения и наставления были перечислены в специальном формуляре, на котором меня обязали расписаться. Люди, связанные с тюрем-ным начальством, сообщили о дне моего освобождения из-под стражи. Но тю-ремные формальности задержали меня, и когда я приехал домой, мои родные уже всерьез сомневались в правдивости этого слуха.

Весть о моем появлении быстро распространилась по городу. Вскоре в квартире стало тесно от пришедших поздравить меня. Дали знать по телефону

в Москву, а телеграммами известили евреев других городов, что я выпущен из тюрьмы и отправляюсь в Кострому на трехлетнюю ссылку...»

Сборы не были долгими, к семи часам вечера Ребе был полностью готов к поездке. Вместе с ним, в добровольную ссылку, в тот день отправлялись трое: дочь Хая-Муся, неутомимый Шмарьяху Гурарье и близкий друг семьи – Элияху Хаим Альтгауз.

Приехавшего на вокзал Ребе сопровождала толпа охранников: два важных чина из следственного отдела ГПУ, трое чекистов в штатском, несколько милиционеров – почему-то все грузины и наряд вооруженных солдат. Едва ли ГПУ опасалось восстания на перроне, грозный эскорт был скорее всего продуманным средством устрашения. Но сотни хасидов, пренебрегая несомненным риском, пришли на проводы героического и любимого Ребе.

За несколько минут до отхода поезда Ребе поднялся на ступеньки вагона и обратился оттуда к собравшимся. Его речь приведена ниже и, читая ее, все время помните: ему только что грозил расстрел, да и сейчас он от него не застрахован!

«Мы просим Всевышнего, – сказал Ребе, – «Да будет с нами Б-г, как Он был с нашими отцами; да не оставит и не покинет нас». Но, откровенно говоря, мы не можем сравниться с нашими предками, которые на деле жертвовали собой ради Торы и ее заветов. Известны слова, сказанные одним из Любавичских Ребе, когда царские власти требовали реформ в еврейском воспитании и в статусе раввинства: «Не по своей воле ушли мы из Святой Земли, и не своими силами вернемся в Эрец Исраэль. Наш Отец послал нас в изгнание, и Он же, Благословенный, освободит и соберет нас с четырех концов света на земле Обетованной... Но все народы мира должны знать: лишь тела наши были преданы изгнанию и порабощению чужим властям. Но души наши не были изгнаны и в подчинение властям не преданы. Мы обязаны говорить открыто, во всеуслышание – во всем, что касается нашей религии, Торы, ее заветов и еврейских традиций, никто не вправе диктовать нам, а тем более – принуждать. С присущим нам еврейским упрямством и тысячелетней самоотверженностью, мы заявляем: «Не прикасайтесь к Моим помазанникам и Моим пророкам не делайте зла».

Так говорил самоотверженный еврей. А мы не находим в себе должной смелости заклеить позором перед всем миром бесчинства нескольких сот отщепенцев, открыто глумящихся над святым для каждого из нас. Известно, что советский закон – с небольшими оговорками – разрешает изучать Тору и соблюдать ее заповеди. Лишь доносы и клевета ведут нас за это в тюрьму и на каторгу.

Мы просим Б-га: «Да не оставит и не покинет Он нас», чтобы Всевышний наделил нас стойкостью перед лицом физических страданий. Чтобы любая расправа, настигающая нас за поддержку еврейской школы или изучение Торы и соблюдение ее заповедей, вселяла в нас все большую решимость продолжать святое дело. Мы должны помнить, что тюрьмы и каторга – временны, а Тора, Заветы и народ Израиля – вечны!

Будьте вы все здоровы и крепки. Я надеюсь на Всевышнего и уверен, что мое заочение придаст свежие силы делу укрепления еврейства. И исполнятся слова: «Да будет с нами Б-г, как Он был с нашими отцами; да не оставит и не покинет нас»!..»

ДВЕНАДЦАТОЕ ТАММУЗА

Кострома – большой промышленный город, а евреев – наперечет. Меньше ста семей, капля в русском море. Люди, в основном, простые, ремесленники, рабочие, и единственная на весь город маленькая синагога. Достаточно просторная в былое время, она стала тесной после 5-го Тамуза – дня приезда Ребе, когда каждый считал своим долгом услышать или, хотя бы, увидеть его во время молитвы.

В городе, как и во всех других городах России той поры, очень плохо с жильем. Реб Михоэл Дворкин нигде не мог отыскать свободную комнату для Ребе. Пришлось потеснить местного шойхета (резника), у которого и остался приехавший в ночь с понедельника на вторник совершенно больной и измученный дорогой рабби Иосиф Ицхак Шнеерсон.

Наутро началась его ссылка – с визита в Костромской горотдел ГПУ. Начальник, мрачный верзила, забрал у Ребе документы, переписал их по своим реестрам и сказал:

– Вы – преступник против советской власти. Без моего разрешения из города ни шагу. Хотите поменять жилье – предупредите заранее. Раз в неделю отмечаться и никаких болезней в этот день. Предупреждаю, органы ГПУ будут знать каждый ваш шаг и сегодня, и завтра, и через три года...

Но кто из нас может знать, что произойдет на завтра, а тем более через три года! Загнав неудобного раввина в захолустье, советская власть успокоилась и, возможно, рассчитывала, что так же быстро уляжется шум, вызванный арестом любавичского лидера. Но не тут-то было. Евреи России и других стран мира продолжали сражаться за его свободу. В тот самый день, когда Ребе беседовал с угрюмым начальником костромского ГПУ, московский Комитет принял решение: направить ходатайство о полном помиловании на имя генерального прокурора Советского Союза Крыленко. Этому решению предшествовали жаркие споры осторожных с решительными.

– Нужно выждать какое-то время, – твердили осторожные. – Ленинградское ГПУ скандально оконфузилось с делом Ребе. Пусть теперь успокаиваются месяцы пять или шесть, Б-г даст, позабудут, да и ситуация в стране переменится. А сейчас... Да они на стены полезут от злости: Ребе еще до ссылки не доехал, а тут, нате вам – помилование...

– Не только через полгода, – отвечали решительные, – но даже и завтра может быть поздно. Сегодня арест Ребе у всех на устах – и у нас в стране, и за рубежом. Пройдут месяцы, люди обо всем позабудут и отмахнутся от наших просьб... Да и кто поверит, что железное сердце способно подобреть!..

Победили решительные.

Конечно, нечего было надеяться на положительный ответ Крыленко без помощи, без могущественных связей Екатерины Павловны Пешковой. Ее доброе расположение к Ребе оставалось неизменным, но такие вопросы, сказала она, никогда не решаются без участия периферийной власти. Той, что арестовала и осудила. Вначале нужно выяснить мнение председателя ленинградского ГПУ Мессинга.

Не откладывая дело в долгий ящик, госпожа Пешкова тут же отправила в Ленинград своего заместителя по «Политическому Красному Кресту» – переговоры с Мессингом. Как и следовало ожидать, Мессинг побелел от злости.

– Полностью исключается, – бросил он, что называется, с порога.

– Почему?

– Да хотя бы потому, что освобождение Любавичского Ребе вызовет вспышку антисемитизма в стране. Вы, конечно, знаете, – пояснил Мессинг, – что в тюрьмах и ссылке сколько угодно служителей культа: попов и пасторов, ксендзов, мулл... Но их не выпускают. Представьте теперь, что начнется, если освободят раввина. Из каждой щели завопят черносотенцы: «Ага, что мы говорили! Это жидовская власть!»

– Хочу вас заранее предупредить, – закончил Мессинг короткую беседу. – Если даже Москва выпустит Ребе, мы немедленно найдем повод снова упрятать его за решетку. Прощайте...

Пришлось махнуть на антисемита рукой: Б-г не выдаст, Мессинг не съест – и действовать через его голову... Никто не знает, каких усилий стоила Екатерине Павловне Пешковой эта борьба. Можно только догадываться, и каждый, у кого есть советский опыт, снимет шляпу и низко склонится перед этой благородной женщиной. Ей удалось невероятное, Крыленко подписал помилование!..

Первая отметка в ГПУ совпала с 12 Тамуза – днем рождения, днем 47-летия ссыльного. При виде Ребе утрюмая физиономия костромского чекиста внезапно расцвела улыбкой.

– Рад вас видеть, – говорит он милостиво, – и рад сообщить: пришло распоряжение о полном вашем освобождении... А документики – завтра.

Есть новости, которые разлетаются неправдоподобно быстро. Когда Ребе вернулся домой, его уже поздравляли хозяева квартиры. Один за другим появляются радостно-возбужденные люди. Реб Михоэл Дворкин с бутылкой запрещенной водки в руках танцует вокруг домика, распевая во все горло: «Нет, нет никого, кроме Б-га одного!» Люди смеются, и плачут, и веселятся. А сын хозяина дома вскочил на забор и выражает свою радость каскадом акробатических фигур.

В этот вечер в русском городе Костроме впервые праздновали 12-е Тамуза - Юд-Бейт Тамуз, праздник Освобождения. Истины ради следует добавить, что несколько позже к евреям Костромы присоединились родные и друзья в Ленинграде, извещенные о случившемся по телефону...

ТИХАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Свобода – это, конечно, прекрасно, но где жить? Ленинград исключался полностью. На следующий день после освобождения Ребе газета на идиш «Эмес» («Правда», орган евсекции), вышла с заголовком: «Раввина Шнеерсона – в Соловки или Сибирь!» Не надо было спрашивать, кто стоял за спиной сверхинформированных борзописцев из центральной еврейской газеты. Евсекция и Мессинг!

Пришлось оставить Ленинград и переехать в Малаховку – маленький поселок под Москвой. Но и Малаховка не спасала. Новый арест был предreshен, евсекция через газету «Эмес» открыто взывала к санкциям. «Почему не арестовывают раввина-мракобеса?» – спрашивала одна статейка; «Кто победитель: революция или Шнеерсон?» – вопрошала другая.

Выбора не было: или арест или... уехать навсегда из России. Но возможно ли это? И опять не обойтись без помощи госпожи Пешковой. Впрочем, на этот раз все ее связи в правительственных верхах не могли помочь без поддержки из-за рубежа. Настало время «тихой дипломатии».

Первая попытка и первый отказ. Заместитель рейхс-канцлера Германии д-р Вайсман приватно встречается с советским послом в Берлине – Крестинским.

– Почему вдруг раввина Шнеерсону понадобилось уезжать из СССР, – пожимает плечами Крестинский. – Из тюрьмы его освободили, не понимаю причин подобной просьбы...

Сконфуженный заместитель рейхс-канцлера встречается с берлинскими раввинами – Гильдсгаймером и Баком. Для прошения о выезде, объясняет д-р Вайсман раввинам, необходим какой-то серьезный аргумент. Пусть формальный, но весомый в глазах советского правительства...

К счастью, это очень просто. Евреи Франкfurта-на-Майне срочно составляют контракт – приглашение Любавичского Ребе раввином в местную общину. Такой же контракт (причем оба они отнюдь не формальны) готова выслать Рабби Иосифу Ицхаку Шнеерсону еврейская община города Риги.

«Тихая дипломатия» требует специальных посланцев. Из Германии в СССР выезжает уже упоминавшийся депутат Бундестага, д-р Оскар Каган. В его кармане контракт для Ребе и твердая уверенность в быстром решении вопроса о выезде. У д-ра Кагана есть на то основания: он давно, еще с дореволюционных времен, знаком с наркомом иностранных дел СССР Чичериным. А кроме того, имеет личные заслуги перед правительством страны Советов. Когда-то, в пору эмиграции, любимый вождь большевиков попал в немецкую тюрьму. Адвокатом и успешным защитником Ленина был в ту пору д-р Оскар Каган.

Посланцем Риги в Москву выезжает хасид – раввин Мордехай Дубин. У него никаких «заслуг», хуже того – ему отчаянно не по себе в этой поездке. В короткую пору советской власти в Латвии раввин полностью вкусил революционной свободы... из-за тюремной решетки. Его не успокаивает, что он депутат Латвийского сейма, а в бумажнике – сомнительной весомости письмо советского

посланника в Латвии с просьбой удовлетворить ходатайство рижской общины. Единственное, что он может посулить за освобождение Ребе – ускорить подписание торгового договора между Латвией и СССР, поскольку депутат Дубин пользуется значительным влиянием в земледельческой партии – ведущей партии Латвийского парламента. Москва же крайне заинтересована в подписании договора – первого долгожданного дипломатического успеха после разрыва отношений с Англией.

Оба посланника приезжают в Москву почти одновременно. Дубин встречается с Доброницким – начальником отдела Прибалтийских стран в наркомате иностранных дел СССР. Доброницкий разговаривает уклончиво – не он решает подобные вопросы, но во время беседы дает понять, что просьба – безнадежна. Д-р Каган идет к своему старому знакомцу – наркому Чичерину и, при всех своих заслугах «спасителя вождя мировой революции», нарывается на решительный отказ. Личное знакомство ничуть не помогает, Чичерин просто отказывается говорить на эту тему.

Разочарованный и убитый, приходит д-р Каган к Дубину. «Я не понимаю этих людей, не понимаю, в чем дело. Мне больше нечего делать в Москве, и я уезжаю». «Мы обязаны спасти Ребе!» – отвечает Мордехай Дубин и остается.

Рассчитывая на благодарность советского правительства, профессиональный политик, д-р Оскар Каган, был просто наивен. Впрочем, в оправдание ему можно сказать, что в ту пору иллюзий мало кто на Западе понимал незамысловатый принцип «тихой дипломатии»: хищник нехотя разжимает зубы, если предложить ему более лакомый кусок. Д-р Каган приехал в Москву с пустыми руками; договор с Латвией был вожделенно-аппетитен... Советская власть начала торговаться. На следующей встрече депутат Латвийского сейма разговаривает с Доброницким, выражаясь нынешним языком, с позиции силы:

– Насколько мне известно, – говорит Дубин, – вы весьма заинтересованы в торговле с нашей страной. Однако отказываете в нашей скромной просьбе. Боюсь, вы недооцениваете евреев Латвии. Если Любавичский Ребе не приедет в Ригу, вам придется долго ждать подписания договора...

Доброницкий юлит, не отвечает ни да, ни нет, а за спиной переговоров вызывает из Риги советского посла. Надо думать, посол подтвердил слова М. Дубина, потому что Доброницкий внезапно становится добр и покладист. Он готов немедленно вручить выездную визу раввину Шнеерсону, но только ему одному – без семьи.

Прозрачный замысел: мать, жена, дочери и другие члены семьи становятся заложниками. Надежный способ навсегда заткнуть рот опасному свидетелю «коммунистического рая». Ребе категорически отказывается уезжать без родных и близких. Доброницкий извивается, как уж на сковороде: он ничего не решает, но должен что-то говорить. Мордехай Дубин упорно стоит на своем.

В этой истории принимают участие десятки неназванных людей, в том числе, конечно, и госпожа Пешкова. Переговоры тянутся до сентября, пока, наконец, где-то в недрах советского правительства не приходит к выводу – отпустить! (поскольку договор с Латвией дороже). 28 сентября особое совещание наркомата

иностранных дел СССР легко подмахивает разрешение на выезд «раввину Шнеерсону и его семье, в сопровождении шести ближайших к нему лиц». Среди подписавшихся – недавно «непреклонные» Чичерин, Литвинов и Доброницкий...

В той стране нет законов, вернее, они действуют до минуты, пока не мешают властям. Так было в трагическом – в истории ареста и освобождения Ребе; и повторилось в комическом – в эпизоде с его библиотекой.

В разрешении на выезд стояло: «с личной библиотекой», а по законам СССР запрещается вывозить из страны какие-либо рукописи или старинные книги без разрешения комитета по делам печати. Совершенно законно, для проверки нескольких тысяч вывозимых книг, на дом к Ребе явился инспектор комитета – весьма образованный и культурный еврей. Увидев библиотеку, с ее манускриптами, книгами прошлых веков и драгоценными рукописями прежних Любавичских Ребе, он только развел руками. Подобные ценности, сказал он твердо, вывозить из Советского Союза запрещено категорически. В жизни не подпишу разрешение на вывоз. Запрещено?!.. Мордехай Дубин отправляется в комитет по делам печати, показывает правительственное постановление о выезде и пометку: «с личной библиотекой». Закон – законом, но как, оказывается, легок обходной маневр! На следующий день приходит другой инспектор комитета, для которого еврейская письменность – полнейшая китайская грамота, и равнодушно описывает загадочные для него книги.

ПРОЩАЙ, РОССИЯ!..

Тысячи людей пришли в синагогу на последнее выступление Рабби Иосифа Ицхака Шнеерсона, совпавшее с праздником Симхат-Тора. Самый веселый день, когда танцуют и радуются все евреи мира от мала до велика, был в том году в России омрачен скорбью. Любавичский Ребе простался со своими хасидами.

– Да поможет вам Б-г – сказал им Ребе, – устранить все трудности и препятствия на пути к изучению Торы... Как вы знаете, мой отец основал ешиву «Томхей Тмимим», а меня назначил ее руководителем. И этих своих полномочий я никому не передаю!.. Вам – воспитанники ешивы – мой наказ: берегите время и строго соблюдайте расписание занятий. Нужно дорожить каждой секундой именно теперь, когда мгновения равны годам. Пусть Всевышний поможет вам справиться с вашей задачей – освещать мир светом Торы, потому что на этом пути один человек равен десяткам тысяч... Я всегда вместе с вами. Мой отъезд – лишь перемена места жительства. Вместе с тем, это все же разлука... Поэтому должна быть крепкой наша духовная связь, то духовное единство, что продолжается из поколения в поколение. А достигнуть его можно только изучением хасидизма – основы нашей жизни. Каждый из вас учит хасидизм либо ежедневно, либо дважды в неделю. Но эта учеба не должна ограничиваться чистым познанием, а должна находить свое выражение в повседневной жизни. Только в этом случае наша связь, наша внутренняя связь, будет сильнее прежнего...

Ребе оставил в России огромное наследство: тысячи преданных учеников, десятки тысяч верных ему хасидов, организованные по всей стране хедеры, ешивы и другие религиозные учреждения, которые продолжали действовать десятилетия после его отъезда. И еще он оставил вдохновляющий пример титанической деятельности, самоотверженности и героизма.

Тысячи людей провожали его на Финляндском вокзале. Слезы на глазах и клятвы любви. Вечером 24 Тишрей 5688 года (20 октября 1927 г.) Ребе навсегда покинул Россию. О его дальнейшей судьбе, о двадцати трех годах его последующей жизни, вам расскажут другие книги.

12 Тамуза, Юд-Бейт Тамуз – день окончательного освобождения Ребе, превратился с той поры в ежегодно отмечаемый праздник. Юд-Бейт Тамуз – не просто памятный день. В нем символика, в нем знамение победы света над мраком как в России, так и во всем мире.

На освобождение Ребе откликнулись всемирно известные раввины Святой Земли. «День, когда вышел на свободу святой борец – Ребе из Любавича, очень дорог и знаменателен. На каждом из нас святая обязанность – признать значение этого дня», – это слова рава Кука. Другой, не менее знаменитый раввин Зоненфельд, сказал:

– Этот день будет постоянно днем торжества, радости и веселья для всей семьи евреев, набожных и почитающих Имя Его. В этот день освободил свою душу слуга Б-га, рисквавший жизнью во имя святости Торы...

«Не меня одного освободил Всевышний в день 12-го Тамуза, – пишет позднее Ребе, – а всех, кто любит нашу святую Тору и соблюдает ее заповеди. И даже тех, кто лишь называется евреем. Ибо каждый еврей, вне зависимости от исполнения им Мицвот, сердцем своим един с Б-гом и Его Торой».
